

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4141117 3

КАБАКОВ



МОСКОВСКИЕ СКАЗКИ

ВАГРИУС

Александр
КАБАКОВ

**МОСКОВСКИЕ
СКАЗКИ**

Москва Вагриус 2005

УДК 882-32
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 12

В оформлении переплета использован
фрагмент картины О. Булгаковой «Представление»

Художник – Т. Костерина

Кабаков А.А.

К 12 Московские сказки/Александр Кабаков. –
М.: Вагриус, 2005. – 301 с.

ISBN 5-9697-0033-9

В своей новой книге Александр Кабаков виртуозно перслагает на «новорусский» лад известные сказки и бродячие легенды: о Царевне-лягушке и ковче-самолете, Красной Шапочке и неразменном пятаке, о строительстве Вавилонской башни и вечном страннике Агасфере. И все эти чудеса происходят с героями в современной Москве, городе странном, полном мистических совпадений...

УДК 882-32
ББК 84(2Рос=Рус)6

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9697-0033-9

© Кабаков А.А., 2005
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2005

ГОЛЛАНДЕЦ

Впервые он был замечен около одиннадцати вечера (в протоколе было записано так: «В районе 23-00 ночи...») на Кутузовском проспекте.

Стоял январь, снежные змеи ползли по уже пустоватой в это время суток правительственной дороге, трафик — извините, лень заменять более русским словом, да разве и это еще не сделалось русским? — сошел практически на нет, лишь изредка пролетали в направлении знаменитых пригородов автомобили самых дорогих марок и моделей да упрямо тащился неведомо куда одинокий четырехеста двенадцатый «москвич» с кривым, нагруженным всякой дрянью багажником на крыше, дрожавший на морозе всеми крыльями и полусонно моргавший грязными фарами. А в сторону центра и во все никто не ехал, вот только пугливая «газель» проскочила почти незаметно по правому ряду и свернула в темный переулок по своим мелкооптовым делам.

Тут все и началось.

Трагический герой происшествия, которое спустя небольшое время случилось —

или случая, который произошел? — в этих краях, двигался в сторону области в крайнем левом ряду, нарушая скоростной режим и еще ряд ПДД, а именно: ехал, собственно говоря, даже не в левом ряду, а по резервной полосе, с включенным проблесковым маячком, на какой не имел установленных правилами документов, находился в состоянии алкогольного, а также наркотического опьянения и видал всех на... Впрочем, что ж тут много говорить, и так все понятно. Звали водителя Абстулханов Руслан Иванович, и зачем он так неправильно ехал на большой японской машине-внедорожнике (джип), знал один только Аллах, всемогущий и всеведущий, но и то, наверное, сейчас уж забыл, поскольку было это давно, информации же такого рода поступает наверх немерено...

И зачем Руслан Иванович в ночном клубе, принадлежавшем, кстати, его хорошему приятелю, депутату и прогрессивному юноше Володичке Трофимеру... ладно, о Володичке в другой раз... так вот: зачем Абстулханов Руслан, которого друзья и правоохранительные органы чаще называют для легкости просто Абстул, пил в ночном клубе виски, нюхал кокаин, а под конец еще догонялся шампанским, хотя делать все это упомянутый Аллах вообще категорически запрещает? Ладно, виски Абстул, как всем известно, любит, кокос на этот раз был исключительно качественный, а шампанское французское настоящее, оно даже в супермаркете под стоху тянет, не то что в клубе... Но зачем

же перед дорогою-то?! Ну, не знаю. Точнее, мне кажется, что знаю, но объяснить вам не смогу. Понимаете — ему можно. Ему, Абстулу, можно ездить пьяным по осевой — вот еще спросите, зачем по осевой, если дорога вообще пустая, — и со скоростью сто шестьдесят километров в час, и с мигалкой, потому что жизнь устроена правильно, она приспособлена для него и его друзей, а никак не для вас, что вы привязались, честное слово! И Аллах, который, между прочим, есть просто Бог, один на всех, тут совершенно ни при чем. Хотел Абстул — и пил, и нюхал, и обнимал даренных Володичкой красавиц, захотел — сел и уехал. А если вы никогда за руль не садитесь выпивши, кокаин же вообще видели только в кино, то и правильно, и не нужно вам, и успокойтесь.

Да.

Значит, продолжим.

Джип мчался по осевой, обильные ночные огни Москвы сверкали по сторонам и над дорогой, а бедный Руслан, уверенно (отдадим ему должное) держа дорогу, дремал, просыпался, вспоминал, куда он едет, снова дремал, а огромная машина неслась себе...

Как вдруг Абстул почувствовал, что он не один, что кто-то наблюдает за ним, будто глазок в двери камеры приоткрылся беззвучно.

Глянул сначала Абстул направо — никого, пустое кожаное сиденье пассажирское, над ним густо тонированное боковое стекло, за стеклом пустой проспект.

Глянул тогда налево Абстул и увидел его.

Он представлял собой автомобиль типа «универсал», называемый обычно нашими автолюбителями «сараем» и любимый в Европе многосемейными людьми, а у нас в основном предпринимателями, не образующими юридического лица, но просто торгующими на вещевых рынках всяким барахлом, которое как раз в таких автомобилях перевозить очень удобно. Модель этого народного автомобиля, которую увидел слева от себя Абстулханов Руслан, сделалась самой распространенной в России примерно через десять лет после того, как выпускать в Германии ее перестали.

Не хило, подумал Абстул, я сто шестьдесят иду, и он сто шестьдесят идет, я по разделительной иду, а он по встречке идет конкретно, как такой лоховской «сарай» идет сто шестьдесят, почему ментов не боится и как он арку, дытел, объезжать будет, если эта арка через километр уже, даже меньше, блин?!

То есть ничего такого он, конечно, не подумал, подумал только «ни фига себе!», вернее, не совсем так, а... В общем, некогда тут уточнять слова, потому что имперская тень Триумфальной уже близко.

Абстул покрепче берет руль, уходит вправо, в законный ряд, и, минуя памятник, глядит в левое зеркало, ожидая увидеть в нем кувырок, как в американском кино, и прислушивается, ожидая услышать резиновый визг и железный удар, — но не видит и не слышит ничего. Позади темная и пустая дорога, только рекламы светятся в черном не-

бе гнилым светом, а до слуха доносится лишь душевная песня хорошего радио, на которое всегда настроен приемник в джипе. И Абстул, слегка тряхнув головой, чтобы окончательно взбодриться, немного сбавляет, поскольку скоро уже поворачивать на Рублевку, а через полчаса тормозить перед домом или, как говорится, коттеджем, где сейчас первый этаж практически готов, там семья Абстулхановых и живет, а к лету бригада все достроит, получится дом у Руслана Ивановича не хуже, чем у соседей, уважаемых даже по меркам этого шоссе людей, а тогда можно будет привезти еще братьев и поставить их точки держать, самому же пора что-нибудь поспокойнее взять, клуб, допустим, как у Володички, а потом...

Он уже не крутил головой, а сразу увидел этот проклятый «сарай». Теперь ржавая развалина была справа, неслась вровень, борт в борт, мешая менять рядность перед поворотом. Ничего себе, опять подумал примерно так Абстул, я сто сорок иду, и он сто сорок идет, откуда, вообще, блин, он взялся справа?!

Ответа на этот вопрос, как и на предыдущие, он не нашел, да и не мог найти, потому что уже в следующую секунду увидел то, что будет подробно описано ниже, и лишился рассудка.

Салон универсала, не сбавлявшего ход и летевшего справа от джипа, осветился ярким, клубящимся голубым светом, будто в нем зажгли не обычную полудохлую пото-

лочную лампочку, а зенитный прожектор. В этом свете стали отчетливо видны водитель и пассажиры проклятого экипажа. Все они были одеты вполне обычным образом, в черные кожаные куртки и черные же вязаные шапки. Но между воротниками курток и шапками увидел уже психически больной гражданин Абстуханов Р.И. не заросшие модной и этнически естественной щетиной смуглые лица, чего скорей всего можно было бы ожидать; не бледные, налитые нездоровой полнотой щеки и крепкие шеи тяжелоатлетов титульной национальности, что было бы нежелательно, но тоже понятно; не бессмысленные испитые рожи обкурившихся до остекленения подростков, что было бы противно, но неопасно; даже не физиономии ментов в штатском, исходящие служебной наглостью и жадностью, что не сулило бы никаких проблем, кроме потери небольших бабок... Нет, о нет, ничего такого не увидел несчастный!

В сияющей голубым огнем машине скалились длинными кривыми зубами бурые черепа, тонкие кости запястий высывались из кожаных рукавов, и голые, гладкие, блестящие полированной желтизной фаланги лежали на баранке.

Сейчас я их сделаю, глупо подумал Абстуханов, придавил подошвой длинноносого итальянского ботинка педаль и, ювелирно подрезав адских выползней — сама собой сработала моторика опытного подставлялы, — сразу ушел сильно вперед. В зеркалах — и в правом, и в левом, и в верхнем —

возникла черная пустота. В мертвой зоне остались, уроды, вполне логично на этот раз решил Абстул и засмеялся в полный голос, и смех его, несмотря на то что окна в машине были плотно закрыты, разнесся над всем проспектом.

Хохот безумца летел над престижными домами тоталитарной постройки, окна в которых были в основном уже новыми, с белыми рамами, и, вместе с телевизионными тарелками, свидетельствовали о состоявшейся в нашем обществе смене элит; над дорогими магазинами и ресторанами японо-итальянской кухни, в одном из которых попал когда-то Абстул под автоматный расстрел, но обошлось, только лоб оцарапало щепкой от барной стойки; над высотным элитным жильем, вознесшимся к недостижимым московским небесам, где летят, оставаясь на месте, облака, ночью невидимо-черные, днем дымно-серебряные, а на заре и в сумерках сиренево-золотые, и сидят на этих облаках наши души, поглядывают вниз, где пока суетимся мы телесной суетой, и раздумывают, не пора ли плюнуть на все сверху да и отлететь от нас навсегда куда-нибудь повыше, в разреженные слои... И многие жители Кутузовского, кто еще не спал, ужинавшие с вином или отдавшие телевизионным передачам, беседовавшие в приятельском кругу или поглощенные бесчинствами любви, слышали этот дикий хохот, но сочли его кто эхом обычного взрыва, кто воплем диджея, прорвавшимся сквозь стены какого-

нибудь клуба, а те, кто уже спал, во сне решили, что это им снится.

Руслан тем временем уже сворачивал на Рублевку, уже выходил на прямую к МКАДу, курил сигарету, жмуря от дыма левый глаз, и разум, бултыхаясь и булькая, понемногу снова втекал из окружающего пространства, где он едва не рассеялся мелкими каплями, в голову бедняги. Если бы на том все и кончилось, то, возможно, к утру не осталось бы никаких последствий, кроме обычного похмелья.

Однако дьявольский экипаж, как и следовало ожидать, появился снова. Как представишь, что это мы оказались там, в обреченном джипе... Свят, свят, свят, с нами Крестная сила, спаси и сохрани!

Чертов автомобиль ехал впереди, как будто так и надо: «пассат-вариант» девяностого года обгоняет новенький «лендкрузер» на ста пятидесяти.

И снова осветился, словно долгой молнией, салон с мертвецами, и двое с заднего сиденья вылезли в окна на обе стороны, обернулись, и черепа, словно на шарнирах, прокрутились на сто восемьдесят градусов, ощерились подлыми улыбками, в упор уставились на Абстулханова черными бездонными дырами, и один из них, шутник, поощрительно покачал костями пятерни — мол, обгоняй, пацан, чего жмешься сзади...

Сровнялась под крепкой ногой педаль с полом, рванулся джип и обошел-таки машину смерти, и последнее, что заметил Абстулханов Р.И., 1978 года рождения, уроже-

нец г. Нальчика, — белую на сером вражьем багажнике овальную наклейку с двумя иностранными буквами NL, что, как ему не было известно, но известно многим, обозначает «Нидерланды», то есть Голландию.

Что было дальше? Известно что. Джип, не снижая скорости, врезался в опору надземного пешеходного перехода, частично разрушил эту опору, сам же превратился в хлам, в комок смятого и изорванного металла, в ночной кошмар. Жертв не было, за исключением известного уже нам Абстулханова. Он находился в нетрезвом состоянии, превысил разрешенную на этом отрезке Рублевского шоссе скорость, не справился с управлением и скончался на месте. Спасатели с помощью спецтехники отделили тело погибшего от его автомобиля, но ни они, ни работники ГИБДД не смогли определить, из какого узла внедорожника марки «лендкрузер» вылетел предмет, пробивший насквозь грудь пострадавшего, пронизавший сердце, вышедший под левой лопаткой и воткнувшийся глубоко в спинку кожаного сиденья, так что покойник оказался приколотым к машине, как прищипливает пойманную бабочку жестокий юный натуралист. Предмет представлял собой почти метровой длины прямой прут из гладкого дерева неизвестной породы, на одном конце которого был закреплен острый треугольный кусок металла, а на другом — несколько коротких птичьих перьев. Предположение одного из гаишников об убийстве, которое было совершено этим предметом

еще до аварии, так что наступление ДТП следует считать следствием уголовного преступления и, может быть, надо бы вызвать опергруппу, было отвергнуто руководителем в таких словах: «Ты, блин, кончай здесь хренотень разводить. Туземцы его замочили, что ли? Дай сюда стрелу, долбонос, и делом займись, позвони, чтобы эвакуатор гадский ехал, а то мы здесь до утра загорать будем, а утром кортежи в город пойдут, увидят эту формулу один, мало нам не покажется, понял-нет?» И с тем стрелу, посланную из тьмы, забрал, и ни в каком документе она никогда не фигурировала.

А на пересечении Рублевского шоссе с Московской кольцевой автомобильной дорогой дежуривший там сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного движения старший лейтенант милиции Профосов Н.П. примерно в 23 часа 15 минут того же вечера заметил движущийся с большой скоростью автомобиль «фольксваген пассат-вариант». Госномеров инспектор зафиксировать не смог, так как был ослеплен идущим изнутри машины ярким голубоватым светом, но успел в этом свете заметить, что салон совершенно пуст, то есть и водителя нет буквально никакого. Старший лейтенант по выработавшейся на правительственной трассе привычке отдал было этому безусловно специальному транспортному средству честь, но потом опомнился и, с трудом меняя движение руки в толстом рукаве зимней куртки, перекрестился. Пустой же автомобиль унесся в сто-

рону раздоров, жуковок и многочисленных горок, и лишь минут через пять оттуда, где мерцало, быстро удаляясь, голубое сияние, к ногам Николая Петровича Профосова прикатился небольшой, со скромную дыньку, круглый предмет. Коля наклонился, чтобы рассмотреть явление поближе, и увидел череп с редкой паутиной костных швов на макушке, с крупными зубами, в одном из которых блеснула золотой искрой старая пломба, с загадочными провалами глазниц и пустым треугольником носа. Некоторое время милиционер стоял согнувшись, еще только начиная терять сознание, но тут с северо-запада прилетел растопыренный скелет человеческой кисти и твердыми костями огрел его по затылку, точно под краем ушанки. От этого ушибленный ткнулся носом в снег, встал на четвереньки, постоял так с полминуты и медленно повалился набок, поджав к животу ноги, как эмбрион. А череп и кости мгновенно рассыпались в прах.

Как впоследствии сложилась судьба этого человека, неизвестно. То есть из органов-то он уволился, это точно, потому что не мог вынести недоверия товарищей к своему рассказу, а куда потом устроился и чем теперь живет, никто достоверно не знает. Были слухи, что иногда, в лунные ночи, появляется на том самом месте, где погибла душа Профосова, гаишник, от которого исходит голубое свечение, и что в руках у него вместо полосатой палки крупная берцовая кость, но это, конечно, чушь. Кто бы это

позволил на особо режимной трассе стоять таким гаишникам?

А вот что нечистый «пассат» потом видели многие и в разных местах, тут сомнений нет. Некоторые даже остались живы, так что их впечатления стали нам доступны непосредственно, а не через нашу художественную фантазию, как предсмертные мысли и чувства покойного Руслана Абстуханова.

Например, известно, что однажды, ранним и свежайшим июльским утром, ужасный автомобиль ехал очень медленно по Ленинградскому проспекту, просыхавшему после ночного дождя.

По этой же знаменитой своими пробками и только на рассвете опустевшей московской магистрали ехала в автомобиле «пежо-206» очаровательная молодая дама. Звали ее — да и по сей день зовут — Олесей Грунт, но Грунт она по первому мужу, а девичья фамилия, конечно, Терebilко. Лет шесть тому назад приехала она в столицу России из курортного города Феодосии, несколько времени бедствовала без регистрации, жилья и работы, кое-как прокармливаясь в ночных клубах (к слову: бывала она и у Володички Трофимера, но это так, между прочим, чтобы напомнить вам, как тесен мир и узок круг известных людей) и одеваясь с вещевых рынков, однако вскоре познакомилась с молодым финансистом Борисом Матвеевичем Грунтом, как раз тогда завершившим свой жизненный путь из секретарей институтского комитета комсомола

в миллионеры, и вышла за него замуж. Детей, слава богу, не получилось, и Грунт уже через полтора года развелся с Ольгой, оставив ей фамилию, отремонтированную и обставленную четырехкомнатную квартиру на Усиевича, соединенную из двух квартир деятелей бывшей культуры, элегантно имя «Олеся» вместо природного «Ольга Митрофановна» и кое-какие деньги. Сам же Боря побыл недолго под следствием и судом, помелькал на телеэкране да и поселился в испанской провинции Каталония, климат там действительно хороший. А Олеся снова зачастила по клубам, теперь уже не на пропитание, но в свое удовольствие, пользуясь большим и заслуженным успехом у мужчин-друзей — название «бой-френд» нам отвлратно. Друзья эти ритмично и плавно сменялись, и каждый оставлял Олесе добрую по себе память. Кто в виде колечка, действительно очень миленького, не в каратах дело, кто в мягком образе шубки, дорогой, конечно, но, главное, очень теплой и легкой, как положено шиншилле, хотя бы и крашенной в актуальный розовый цвет, а кто и просто в платиновой карточке одной из популярных платежных систем... В ходе такого развития жизни возник и кратковременный господин, отметившийся в биографии светской дамы выше-названным автомобилем «пежо-206», модной светло-зелененькой машинкой, на которой в то роковое утро Олеся Грунт возобновляла, пользуясь пустотой дороги, приобретенные когда-то впрок навыки вождения.

Тут-то и появился он, четырехколесный посланник Инферно.

Олеся, не увеличивая скорости и не отвлекаясь от управления, то есть робко и старательно делая двадцать километров в час и вцепившись до побеления суставов в руль, покосилась налево. Рядом ехала большая серая машина, марку которой она, конечно, не определила, но заметила, во-первых, что это автомобиль того типа, который у нее на крымской родине назывался «пикап» и использовался зажиточным соседом для перевозки всей семьи вместе с курами, размещенными в клетках позади сидений, во-вторых, что машина сплошь ободранная и ржавая, изъеденная гнилью по всем швам и краям кузова, и, в-третьих, что стекла странного экипажа абсолютно черные, как бы тонированные до неестественного, никогда ей прежде не встречавшегося предела.

Хм, подумала Олеся, какая машина.

И немедленно, будто кто-то уловил ее интерес, правое переднее стекло дьявольского «пассата» — конечно же, это был он — ползло вниз.

Уловив краем глаза это движение, Олеся снова покосилась влево, а затем произвела почти одновременно несколько действий, каждое из которых изобличало в ней настоящую женщину, пусть и закалила ее суровая московская жизнь, пусть подруги считали (и сейчас считают) Ольку холодной и расчетливой. Прежде всего она закричала без слов, просто «и-и-и», самым тонким из доступных ей голосов. Одновременно она

прижала ногой первую попавшуюся педаль, отчего несчастная французская механика взвыла и прыгнула вперед, как кенгуру, но тут же и встала, поскольку мотор заглох, а водительша уже перенесла упор на соседнюю педаль, то есть на тормоз. Ну и, конечно, закрыла глаза.

Увидела же она вот что: за опустившимся стеклом открылась не внутренность нормального автомобиля, освещенная серо-сиреневым светом утра, а бесконечное пространство тьмы, будто там, в салоне, вместилась вся чернота мира. Стекла-то были нормальные, прозрачные, это за стеклами начиналась преисподняя. И смотрел из этого передвижного ада на злосчастную Олю Терebilко безносый череп, скалился, завлекал томным пустым взглядом.

Бедная, бедная женщина! Вы только представьте себе этот ужас: утро как утро, даже прекрасное, центр Москвы в районе «Аэропорта», впереди все только приятное, лет еще совсем немного, ну, пусть тридцать, разве это годы — и вдруг тьма и смерть... Ох, пронеси, Господи, не дай погибнуть!

А когда Олеся Грунт открыла наконец глаза, пуст и чист был Ленинградский проспект, и никакого следа не осталось от машины-призрака. Олесин автомобильчик стоял, косо ткнувшись в бордюр, выла почему-то сигнализация, руки, вцепившиеся в руль, мелко дрожали, и никого, никого не было вокруг.

Ну, что же? Истерика истерикой, но вот уже найден в свалке сумки телефончик,

из последних сил набран номер самого верного приятеля, немедленно, отдадим ему должное, примчавшегося целым караваном, на могучем «ауди» и с «гелендвагеном» охраны, «пежо», нисколько, кстати, не пострадавший, отправился на стоянку, а владельца его всего через час-другой была обследована отличным психотерапевтом в самой дорогой из дорогих клинике, назначили ей хорошие антидепрессанты, массаж, общеукрепляющий режим, потом она уехала в швейцарские горы, оттуда на неутомный остров Ибицу, где всю веселилась, почти забыв привидевшийся кошмар, и вернулась только к осеннему сезону как ни в чем не бывало, лишь стилист-визажист теперь имеет небольшие дополнительные хлопоты с совершенно сплошь седыми волосами, сначала он долго прикидывал, не стоит ли в связи с этим вообще поменять имидж, однако остановился на обычной краске — конечно, самой эффективной, но и только.

А приятель, который пришел в трудный час на помощь, из чистого любопытства узнал, между прочим, по своим каналам обо всех дорожных происшествиях, даже мелких, случившихся в ужасное утро. И выяснил, что приблизительно через семь минут после того, как Олеся опомнилась и попросила по телефону помощи, экипаж одной из патрульных машин никогда не дремлющей ГИБДД обнаружил серый «фольксваген пассат-вариант», медленно скользивший по самой середине Ленинградского

проспекта вблизи метро «Сокол», не доезжая развилки на Волоколамское и Ленинградское шоссе. Чем-то привлекла внимание бдительных милиционеров эта вроде бы заурядная на первый взгляд старая машина, они ее догнали, что не составило труда, поскольку тяжелый универсал плавно, будто во сне, катил со скоростью никак не больше сорока километров в час, пристроились слева и увидели — все стекла «пассата» были опущены — совершенно пустой салон. Серьезные и опытные мужчины в истерику с мистической окраской не впали, сочтя резонно, что какой-то чайник забыл поставить свой драндулет на ручник, он и укатил, разгоняясь на уклонах, хорошо еще, что дорога пока пустая, не въехал ни в кого. Вызвали тут же технический грузовик, чтобы поставить его поперек движения и так остановить беглеца, а сами продолжили сопровождение, разгоняя редкие попутные машины громкими требованиями принять вправо. Хотели было, чтобы не терять времени, пробить по своей связи номера и начать поиски владельца, но тут-то заметили, что номеров никаких нет, а есть только овальная наклейка с буквами NL, не означающими ничего, кроме того, что когда-то автомобиль был зарегистрирован в Королевстве Нидерланды, то бишь в Голландии.

И тогда один, наиболее культурный из вытянувших страшный жребий сотрудников, вроде бы даже студент вечернего юридического, сказал роковые слова.

«Ну, ебучий голландец!» — вот что он сказал.

Тут же исчез заколдованный «пассат», а на его месте осталась только кучка серого песка, да и ее через мгновение унес ветер.

Патрульная машина тоже исчезла, до сих пор она находится в розыске, так же как и весь ее экипаж.

И приятель Олеси Грунт исчез, кажется, уехал в Англию, купил в Лондоне, в районе Хайгейт, приличный дом, живет там с семьей и друзьями, но, возможно, что и там его нет.

И самой Олеси Грунт что-то давно не видно нигде, не была она даже на показах недели высокой моды, а уж там она бывала в прежние годы обязательно. Нет, никаких опасений за ее судьбу друзья не испытывают, все, кажется, с нею в порядке, но где она?

И «фольксвагена» того, будь он проклят, хотя он, конечно, и без наших пожеланий проклят, больше нету.

Или есть?

Черт его знает.

Вот ехал как-то на дачу известный политик N, не будем называть фамилию, она и без того у всей страны на слуху. Крупный политик, вы наверняка его знаете, много раз по телевизору видели и слышали. И вот ехал он на дачу по Минскому шоссе, там у него неплохая дача, полгектара, три этажа, ну, камин, бассейн, что там еще, факт только, что все построено на деньги, полученные за лекции в западных университе-

тах, это и в декларации указано. Ну, и вот ехал он на дачу, но не доехал. Кто-то вроде бы видел, как обогнал его казенную машину производства баварских автомобильных фабрик старый и разваливающийся на ходу серый универсал, подрезал, подставил корму — и конец политику.

Ржавому рыдвану хоть бы что, а новенькая «бээмвэ» в лом.

И каким-то удивительным образом край отлетевшей крышки багажника буквально отрубил этому N голову, представляете?

А из бандитской машины — кажется все-таки, что «пассата», — вышли скелеты и прямо на шоссе давай играть одной из лучших в России голов. Футбол, блин!

Впрочем, не верится в этот вздор. Ну, как это можно — белым субботним днем, на оживленном Минском шоссе?..

А с другой стороны — N-то пропал... Ушел из политики, и где он теперь, чем занимается — неведомо. Не то в каком-то совете директоров, не то в штате Висконсин студентам университета курс основ демократии читает... А некоторые уверяют, что лечится в Израиле от синдрома приобретенного за годы политической деятельности иммунодефицита и уже на поправку пошел... Ничего не поймешь, кроме одного — пропал.

А то еще был в Москве популярный молодой человек разносторонних способностей по имени Тимофей Болконский. Уж из каких он происходил Болконских, кто его знает, может, непосредственно из книги Л. Тол-

стого, а возможно, и сам по себе, от папы, который тоже в свое время гремел, получал партийно-правительственные премии и награды. Впрочем, папа, кажется, вообще был Балконский, от «балкона»... Тимофей же прославился как клипмейкер, политехнолог, держатель ресторанов и мастер экстремального спорта — он и в Альпах рассекал склоны, и в Индийский океан погружался с головой, и просто так на мотоцикле ездил каждый день, утром из дому в студию, вечером из ресторана домой. Была у него чудесная многодетная семья, с которой он фотографировался для журналов домашнего быта, был и друг, с которым его связывали настоящие мужские отношения, нежные и ласковые, с другом Тимофей фотографировался для остальных журналов.

В общем, все было хорошо.

Но настало время — и Тимофей тоже пострадал от дорожного привидения.

Ехал на мотоцикле, ветер свободы остужал бритую наголо, как теперь принято в приличном кругу, голову, в бритой голове складывалось новое, патриотическое и современное, меню подвластных ресторанов: суши из осетра, фирменная пицца с вязигой, щи-пюре суточные... И вдруг — рядом машина, черепа, скелет высовывает в окно и тянет к беспечному ездоку свои цепкие кости, одним рывком вынимает Тимофея из седла, подтягивает к своей омерзительной харе, всем знакомой благодаря портретам на трансформаторных будках, и прямо в лицо, в маленькую бородку, в ухоженные ще-

ки, в зажмуренные — в последний миг успел — умные глаза плюет! Не разжимая отвратительно желтых зубов, плюет, сука, и ведь не слюною, гад, а смертным гноем, и мерзость эта смрадная виснет и на бородке, и на ресницах... Как пережить такое? Скажите, как?

А Тимофей пережил. Отлетел, отброшенный нечистой силой, на обочину, полежал там... Вроде жив, кажись, без переломов. Приподнялся, сел на плешивом московском газоне, обтерся по-простому рукавом. Мотоцикл еще скользил на боку, выбивая вдали искры из асфальта, но вот уж наехал на него могучий мусоровозный грузовик, вот уж и нет мотоцикла. Встал Тимофей Болконский и пошел пешком куда глаза глядят, то и дело обтирая лицо чем попало — и кожаным рукавом, и подолом недешевой рубахи, и просто ладонью, а ладонь потом об штаны, но все никак не мог вытереться досуха, да и запах преследовал.

Шел так Тимофей, шел, но никуда не пришел. Все в Москве уверены, что он уехал в Исландию и там практикует зороастризм, но никаких фактов под этой уверенностью нет. Что точно — выключил Болконский свои мобильные телефоны, и только друг знает, как с Тимофеем связаться: надо позвонить в одно гамбургское заведение, а от туда соединят.

Еще ехали по московским улицам и проспектам, а также по шоссе в Московской области в разное время разные люди, но встретили голландца, выше названного

грубым, но справедливым словом, встретили – и пропали. Среди них: бизнесмены, работники средств массовой информации, служащие муниципальных и даже федеральных учреждений, представители криминальных и силовых структур, правозащитники, общественные деятели, поддерживающие как действующую администрацию, так и оппозицию, иностранные наблюдатели, военные и общегражданские пенсионеры, временно не работающие москвичи, легальные и нелегальные мигранты, мужчины, женщины и другие лица, трезвые, пьяные, находившиеся под действием наркотиков, ВИЧ-инфицированные, молодые, пожилые и среднего возраста... Все, нет сил продолжать, и места не хватит. Стоит отдельно упомянуть еще два случая: исчезновение боевой машины пехоты, числившейся за одной из дислоцированных в ближнем Подмосковье дивизий, и инцидент с водителем маршрутного такси. При этом сразу оговоримся – причастность нежити к обоим случаям сомнительна. Что касается БМП, то ее, скорей всего, просто утопили в ходе боевой учебы на переправе или продали какому-нибудь любителю, так как весь экипаж сохранился и прибыл к месту службы вполне живым, но пьяным в лоскуты. А водитель маршрутного такси, отпахав четырнадцать часов подряд ради собственного заработка и хозяйских прибылей, почти наверняка элементарно заснул за рулем, съехал на обочину и там довольно мягко перевернулся. Слава богу, хоть пассажиров

в тот раз не было, не дождался никого на остановке. Что же до золотого дуката, который он, придя в себя, обнаружил в вывихнутой руке, то это, конечно, наводит на определенные мысли, но с другой стороны — чего только наши пассажиры не подсовывают в кассы!

В общем, ладно.

Вот раздувается над горизонтом низкая сизая туча, прошибает ее солнечными лучами, тянутся их золотые струны от неба к земле, будто на картине давно забытого живописца средней руки, а вот и ветер поднялся, завертелся, понес всякий мелкий сор, и не то первая дождевая капля упала, не то первый снег посыпался, или, может, вовсе ничего не произошло, истаяли незаметно облака, светлым металлом сверкнуло небо...

Неужто же мы станем бояться нечисти, которая еще, конечно, имеет место в нашем городе? Ну, догоняет нас серый универсал, мелькает то в левом, то в правом зеркале, ну, кажется, старый «пассат»...

И черт с ним.

Что же это, что это, что?!

ПРОЕКТ «БАБИЛОН»

В некоторой префектуре затеяли поставить дом по адресу: ул. Петрова, владение 3.

Все нормально — точечная застройка, монолит, без внутренней отделки, 1250 у.е. за квадрат, планировка квартир свободная, подземный паркинг на ограниченное количество мест по двенадцать тысяч за место, холлы, достойные соседи, круглосуточная охрана прилегающей территории. Раскидали рисунки, изображающие элитное жилье на фоне неба с облаками, по рекламным приложениям и журналам с картинками. Повесили несколько растяжек с грустными, если задуматься, словами «Ваша недвижимость ждет Вас», написав, конечно, вопреки правилам покойного русского языка, «Вас» с большой буквы, будто в личном письме. Пропели по радио контактный телефон, начинающийся для простоты запоминания с трех шестерок... В общем, закрутилось.

А что закрутилось-то? Ведь будущие квартиры еще висели на разной высоте в воздухе и были совершенно невидимы, и даже котлован еще не начали рыть в слежавшем-

ся песке, которым когда-то засыпали для выравнивания ландшафта это место.

Но продажи сразу пошли неплохо, хотя некоторые разочарования у покупателей возникали, когда обнаруживалось, что «у.е.» – это условные евро, а не нормальные баксы. Однако, подпираемые готовой на все очередью, представители быстрого среднего класса вынуждены были соглашаться с представителями застройщика, резонно возражавшими, что если бы речь шла о долларах, то так бы и было написано – USD, \$ или, на крайний случай, «ам. дол.». А представление об «у.е.» как об условной единице американских денег безнадежно устарело в связи с дальнейшим подорожанием нефти, усилением ЕС, ну и так далее, не говоря уж о крепнущем наконец-то рубле. О'кей, евро так евро, на пятнадцати процентах не разоримся, говорил средний класс и буквально тут же вносил, сколько получалось по курсу ММВБ на день покупки указанных квадратных метров. То есть, конечно, не сам вносил, а водитель втаскивал, чего ж среднему классу такие тяжелые сумки поднимать. И тут же выдавалось соответствующее свидетельство – на правах собственности... именуемый в дальнейшем... площадь, этаж, адрес...

И никто в связи с воздушностью покупок и песчаной основой предприятия не вспоминал широкоизвестных идиом – все эти старинные идиомы среднему классу до фонаря.

Да, так насчет адреса. Место само по себе было выбрано очень хорошее. Метро недалеко, буквально десять минут на маршрутке, хотя кому оно, это метро, нужно, но все-таки. И автомобильный подъезд отличный, широкая улица, по две полосы в каждую сторону, метров пятьсот только осталось дотянуть асфальт до будущего дома. И зелень вокруг, особенно сильно все разрослось на месте бывшего карьера, прямо как джунгли, потому что там поверх бывшей свалки уложили плодородный слой, и теперь это сквер Памяти Жертв, поскольку бывшее кладбище тоже перекопали. И конечно, воздух, чище воздуха нигде в городе нет, тут же из окон, начиная с четырнадцатого этажа, реку будет видно! И даже микрорайон Нижнее Брюханово, который за рекой, в хорошую погоду тоже будет виден вместе со всеми его промзонами, вот какой прозрачный воздух. А инфраструктура! В двух шагах, сразу за кольцевой, торговый комплекс один, возле метро другой, в Брюханове третий, и в каждом — кинотеатр долби-стерео, японский ресторан китайской кухни, боулинг, фитнес, а возле метро еще и клиника, где липосакцию делают, не надо даже куда-то ехать, пожалуйста, тут же забежал и сделал... Что правда, то правда — казино далеко, это да. Ближайшее в Брюханове, но туда, конечно, одни местные ходят. С другой же стороны, не каждый ведь день в казино нужно, а два-три раза в неделю можно и в центр съездить.

Но что касается собственно адреса, то он действительно оставлял желать лучшего. Потому что в адресе скрывалась смущающая слух и ум неопределенность.

Улица Петрова — ладно, а какого Петрова? При старой власти считалось, что Петров был героем гражданской войны со стороны красных, командармом и кавалерийским стратегом. Поэтому, как только новая власть круто повернулась к исторической справедливости, решили вернуть улице исконное название, то, которое она носила при совсем старой власти, когда командарм Петров, еще не ощутив в себе революционного полководца, служил простым казачьим есаулом и брал призы за джигитовку и рубку лозы. Однако тут же работники комиссии по обратному переименованию столкнулись с существенной трудностью: выяснилось, что никакой улицы тогда здесь вовсе не было, а стояли сохранившиеся на единственной фотографии в документальном беспорядке кривые избы деревни Верхнее Брюханово. Жители этого поселения занимались извозом, продавали по ближним окраинам города яйца и козье молоко, большую же часть времени — пока стоял хоть какой-нибудь лед на реке — посвящали упорным дракам с обитателями Брюханова Нижнего. Во время этих драк, особенно если Пасха бывала поздняя, под конец лед обычно проваливался, и обе стороны оказывались одновременно в положении известных псов-рыцарей, русская же победа не доставалась никому... Впоследствии Нижнее Брю-

ханово, как уже было мельком сказано, переросло в микрорайон с большим количеством пяти- и девятиэтажных жилых домов еще не улучшенной планировки, с грузовыми дворами и градирнями. А от Верхнего Брюханова вообще ничего не осталось, кроме карьера и кладбища жертв разных событий, а потом на месте карьера и кладбища сделалась вот эта самая улица не очень известного героя Петрова, редко застроенная высокими домами, отчего напоминала она подготовленный к зубному протезированию рот.

Но не в том дело, это мы отвлеклись, а в том, что названия, которое можно было бы вернуть улице Петрова, не оказалось. Возникла у одного вольномыслящего краеведа, входившего от общественности в топонимическую комиссию, идея присоединить к Петрову еще и Водкина, но была тут же отвергнута, потому что никакого отношения к рассматриваемой улице этот художник не имел, аллюзии же и ассоциации могли возникнуть у рядовых граждан нежелательные. И действительно: от идеи возле ближайшего метро остались два конкурирующих заведения — кафе-бар «Петров-Водкин» и шашлычная с залом игровых автоматов «Красный конь». Впрочем, спустя время, в ходе борьбы с диким рынком, их ликвидировали, на месте домиков из стекла и железных уголков обнаружились грязные сырые квадраты земли, а через пару месяцев здесь поднялся торговый центр «Петров-сити», построенный из стекла и уже алюминиевых уголков — капитально.

Пока же длились те баснословные времена идеологических перемен, нашелся и другой общественник, ни в какой комиссии не состоявший, который, однако, вышел письмом прямо на префекта. Он предложил назвать улицу Петрова просто Рождественской в честь церкви Рождества Пресвятой Богородицы, только что быстро и незаметно построенной на заваленном прежде ржавым ломом черного металла местном пустыре. И префект вроде был не против, и название получалось красивое, что признавали даже и немногие оставшиеся атеистами, и уже, говорят, дощечки эмалированные заказали... Но как-то не вышло. Нет в области разума объяснений, почему не вышло, только одно остается, особенно если учесть последовавшие в дальнейшем события, — Господь не попустил.

Кончилось же все тем, что один из членов комиссии (незадолго до ее роспуска) проявил удивительное чувство языка и изобретательность, хотя входил в эту гуманитарную комиссию как чисто технический представитель цеха эмалево-жестяной продукции. «Товарищи, — сказал жестянщик, помолчал, собираясь с силами исправиться, но «господ» не одолел и извернулся, — друзья, ничего не надо менять. Потому что кто же из нас не помнит такое крылатое выражение, как «птенцы гнезда Петрова»? Это замечательное поэтическое выражение наводит нас на мысль, что если гнездо может быть Петрово, то почему же улица не может быть Петрова? То есть, я имею в виду, назван-

ная в честь великого царя, с одной стороны, что соединит порвавшуюся было связь времен с Россией, которую мы едва не потеряли, и, с другой стороны, в память великого реформатора, что, я думаю, не нуждается в дополнительных мотивировках. Как вы смотрите, товарищи и друзья?»

Ну что тут можно сказать? Только удивиться, какие образованные и мыслящие люди встречаются у нас буквально на каждом шагу, в том числе и в такой внешне неприметной отрасли, как эмалево-жестяная промышленность. И ведь до чего хитер оказался, черт! Никакого переименования не потребовалось, а заказ-то цех получил, поскольку сумел умница всех убедить, что таблички с названием «улица Петрова» надо заменить новыми, где будет, в соответствии со вкладываемым смыслом и духом русской речи, белым по синему написано «Петрова улица». Через каких-нибудь полгода именно такие жестянки на домах и повесили, чистенькие и еще не облупившиеся.

Не обошлось, конечно, и без досадной мелочи: во всех официальных документах, в том числе и в финансовых, все писали по-прежнему, как была улица Петрова, так и осталась, но это уж ладно, это ничего, на историческую память народную не влияет.

И еще одна деталь — эмалировщик таки оказался кандидатом не то филологических, не то исторических, не то даже вообще философских наук, вот что. Он временно перебивался жестью в связи с неожиданным началом экономических реформ, а как

только жизнь наладилась, быстро поднялся на торговле актуальным искусством, рекламе и политических консультациях, но с нашего горизонта исчез, так что больше о нем вспоминать не будем.

Тем более, что уж давно пора вернуться на место застройки.

Каждый, кто подъезжал в автомобиле или добирался от метро пешком, издали, еще меся липкую и скользкую грязь последних незаасфальтированных пятисот метров, видел укрепленный на аккуратном, но уродливом заборе из рифленых бетонных плит огромный щит. На щите было цветное, сильно отличавшееся от картинок в журналах, изображение будущего дома. Далее мы попробуем это изображение описать словами, хотя понимаем принципиальную невозможность переложения образов одного искусства на язык другого.

Прежде всего дом удивлял формой: не карандаш с остро заточенным шпилем, какие стали уже привычными для горожан, а круглая, широкая внизу и понемногу сужающаяся кверху башня. Стены вламывались в темно-синее небо и исчезали, разметав облака, теряя очертания в клубящейся черноте верхних воздушных слоев. И сами стены тоже были темные, не обычного желтого или хотя бы красного кирпича, и не раскрашенные поверх высококачественной штукатурки яркими, невыцветающими финскими красками, а просто темного камня. От тяжелого, расползшегося основания, возле которого художник разбросал для масштаба ме-

лочь кудрявых рощ и густо-зеленые пятна полей, дом поднимался мощной спиралью, а по галерее, взбравшейся с этажа на этаж, шли микроскопические люди, некоторые из них смотрели вниз, на землю, которую они оставили, другие же, задрав головы, глядели вверх, в небеса, пока для них неприступные.

Прямо жуть брала при разглядывании этой картины, до того огромен был дом, и сумрачно небо, и утрюма земля, и непроглядны рощи, и поля пусты, и люди жалки. Ах, люди! Ужо им...

Сбоку произведения, прямо по небесной черноте и облачной мгле, было написано багровым одно только слово — БАБИЛОН.

Ниже — тот самый телефонный номер, с тремя огненными шестерками.

И совсем внизу, как бы рукописным алым шрифтом, как бы кто-то пальцем порезанным мазнул, фраза из тех, которые теперь называют слоганами. «Достань до небес!» — вот такая фраза. Чего только не ляпнут ради рекламы... А о последствиях никто думать не хочет.

Отдадим должное всей этой картине: привлекала она внимание, просто невозможно было пройти или проехать равнодушно, многие записывали или запоминали соблазнительный телефон и задумывались — квартиры всё дорожают, вложение денег в любом случае получится неплохое, а спустя год-полтора окажешься вот там, на галерее, среди достигших неба, смелых и гордых, удачливых и сильных.

А за забором ворочался голливудским ящером экскаватор и суетились в глубине нулевого цикла таджики. Рыли они, почти не разгибаясь, и сверху казались такими же маленькими, как нарисованные люди, поднимавшиеся по нарисованной галерее. Однако при более близком рассмотрении землекопы оказывались вполне обычными таджиками — темнолицыми, мелкокостными и сухими. Выглядели они удивительно чисто для своего занятия и условий жизни в бараках бывшего пионерского лагеря, откуда их привозили на двенадцатичасовую смену и куда увозили в зашторенных небольших автобусах, как ОМОН.

Одновременно молдавские бригады, тихие и очень плохо одетые, подтягивали коммуникации, а кое-где уже начинали и заливку фундаментных сооружений, солидные украинские механизаторы управлялись с японской техникой, небольшой коллектив армян, ни с кем не общаясь, асфальтировал понемногу площадку... И над стройкой стоял ровный гул голосов, не заглушаемый полностью даже адским рычанием экскаваторного монстра, и в гуле этом можно было иногда разобрать повторявшееся с разными акцентами уважительное русское слово «мать» и другие необходимые слова общепотребительного языка, только он и остался нам всем на добрую долгую память от безвозвратной родины.

По меньшей мере в неделю раз среди бетонного забора открывались, сползали на сторону железные ворота, показывался

охранник в наваченном зимнем камуфляже, а мимо него на территорию, разбрызгивая грязь и переваливаясь, въезжали еще не ставший привычным даже в нашем городе автомобиль Bentley особо британского синего цвета и суровая машина Hummer-2, приспособленная для сравнительно мирного использования путем окраски в тон серого жемчуга и установки кожаных сидений. Прибытие кортежа означало, что на место действия явился для текущего ознакомления глава ОАО «Бабилон» господин Добролюбов Иван Эдуардович с охраной.

Названное выше лицо — в нашей повести важнейшее, упорно проявляющее деловую активность, так что следует сказать о нем несколько особых слов.

Фамилию Ваня унаследовал не от великого публициста-демократа, памятного всем образованным русским людям своею шкиперской бородой в виде бахромы, а непосредственно от отца, Добролюбова Эдуарда Вилоровича, офицера внутренних войск (когда-то называвшихся войсками МГБ), отслужившего календарных двадцать пять лет (а с льготными больше тридцати) и ушедшего в запас с должности коменданта отдельного лагпункта майором. В свою очередь Эдуард Вилорович получил фамилию по отцу, Вилору (Владимир Ильич Ленин — Октябрьская Революция) Мефодьевичу Добролюбову, из крестьян Пермской губернии, член ВКП(б), последний пост — секретарь районного исполнительного комитета, 1903—1937, реабилитирован в 1958-м. А в той

деревне, где родился Колька Добролюбов, впоследствии сознательно взявший современное имя Вилор, все вообще были Добролюбовы.

Однако что-то нас заносит в сторону имен и названий, обратимся же к сущностям.

Достойное происхождение совершенно не помешало Добролюбову И.Э. с ранней, еще даже не комсомольской, а пионерской юности встать на скользкий путь личной наживы. В городе Йошкар-Ола, где после выхода главы на гражданку обосновалась семья Добролюбовых, Иван был первоначально известен ровесникам и милиции как крупнейший поставщик жевательной резинки, «жувачки», которую он брал неведомо где. Затем подросший Добролюбов непредвиденно сделался активным комсомольцем, внештатным инструктором горкома и энергичным организатором студенческих стройотрядов, хотя сам студентом был недолго и армии избежал только по здоровью, потерянному в ходе получения первого разряда по греко-римской борьбе. Потом...

Много чего было потом. Был даже на взлете перестройки год условно, немного опередил Иван решения партии, слишком резко развернулся в рамках посреднического кооператива «Юность» — переезд в Москву, трудная пора освоения рынка компьютеров, которые юному кооператору приходилось несколько раз самому привозить в ставшую на путь модернизации Россию:

сидел рядом с водилой в кабине фуры, держал на коленях «калаш», зорко всматривался в тьму лихих польских дорог... Да, нелегко рождался нынешний, цивилизованный отечественный бизнес, хотя бы вот то же самое ОАО «Бабилон», основанное и по сей день возглавляемое господином Добролюбовым. Сейчас это абсолютно открытое акционерное общество строит, как известно, элитное жилье для обеспеченных москвичей, которых делается все больше не по дням, а по часам. Работает компания в тесном взаимодействии со столичным правительством, так что даже самому отмороженному и в голову не придет наехать при такой крыше, а сам президент «Бабилона» г-н Добролюбов известен не только как крупный бизнесмен, но и как неутомимый меценат, поддерживающий материально многие культурные проекты. Например, он основал благотворительный фонд «Красота», через который идут немалые средства на украшение Москвы памятниками. И если б не «Красота», то не было бы ни известного трехсотметрового памятника Ивану Грозному, коего посох осеняет даль Комсомольского проспекта, ни многофигурной композиции «Победа русского флота при Цусиме», вставшей из вод Яузы, ни бюста Пушкина на колонне, превышающей, как и было велено поэтом, александрийский столп, и заменившей наконец на Тверской прежнюю, полностью морально устаревшую и совсем испорченную голубями скульптуру...

И вот настало время осуществить давнюю мечту Ивана, еще детскую: построить самый высокий в мире дом.

Когда-то, в городе Йошкар-Ола, читая случайно журнал «Смена», мальчик узнал о существовании в Нью-Йорке угнетающих человека домов в сто и больше этажей, о строительстве еще более высоких зданий в неокOLONиальном городе-государстве Сингапуре и других далеких от Йошкар-Олы местах. Он долго рассматривал немного смазанные фотографии небоскребов, вглядывался в мелкое сито окон и пытался представить себе, что вот за каждым таким прямоугольничком есть комната, возможно, даже большая, чем восемнадцатиметровая зала в их йошкар-олинской квартире, и в этой комнате, очень может быть, сейчас стоит у окна какой-нибудь человек и смотрит сквозь стекло в пустоту небес... Ваня подумал, что жизнь на небе никак не может угнетать человека, отложил журнал и подошел к окну, сдвинул тюль. С высоты третьего этажа (потолки хорошие, два семьдесят) ему открылся март – серый снег пустого двора, протоптанный короткими путями к магазину «Продукты» и к остановке автобуса, множество коричневых, расплывшихся по краям кучек, оставленных вокруг сараев людьми и собаками, и почти никакого неба. Прижавшись лицом к прохладному и влажному стеклу, которое тут же матово запотело, он вывернул голову, чтобы посмотреть вверх, но все равно увидел совсем немного неба, только узкую сизую полосу

над крышей стоявшего напротив такого же двухподъездного четырехэтажного дома, вдоль стен которого по бугристым панелям тянулась толстая газовая труба, выкрашенная в голубой, а где не хватило краски — в зеленый масляный цвет... Вскоре Ваня отошел от окна и отправился по своим делам — жувачку в школьной раздевалке продавать.

Прошли годы. Отправив всю семью — супругу Оксану, детей Мефодия и Николая, а также родителей-пенсионеров — на зимний отдых в Австрийские Альпы, которые Оксане еще не надоели, Иван остался один в своем большом доме и заскучал среди прислуги. К слову: его, этот дом, хорошо видно с поворота на Николину Гору, многие обращают внимание, и вы видели наверняка — желтый такой, в русском усадебном стиле... Да, так вот. Некоторые непонятки с кредитами и, в связи с этим, необходимость его личного участия в переговорах между заинтересованными сторонами не позволили известному предпринимателю присоединиться к близким. Днем приходилось разруливать ситуацию, мирить и разводить. А вечером ехал Иван коротать время одиночества в каком-нибудь приличном месте, где можно спокойно, среди своих, чтобы охрана не напрягалась, поиграть в бильярд, выпить пива хорошего — в последнее время предпочитал ирландское — или даже поужинать, как положено, с достойным вином, которое деликатно поможет выбрать этот, как его... сомелье, да.

Таким вот образом оказался однажды он в клубе своего близкого друга Володички Трофимера, популярного депутата и выразителя вкусов современной молодежи.

Ребята тем вечером собрались хорошие.

За соседним столиком сидела знаменитая красавица Олеся Грунт, последние полгода везде бывавшая — даже фотографии публиковались — с Сеней Белоглинским (марганец).

Чуть дальше располагался сам Петр Павлович («Вестинвест»), тихо ужинавший в компании сотрудников.

В углу задумчиво отдыхал с сигарой знаменитый кинорежиссер нового поколения («Друган» и «Друган возвращается»), клипмейкер и политический консультант, байкер и сын крупнейшего деятеля советской культуры Тима Болконский — блестел бритым черепом и серьгами во всех ушах, чернел маленькой бородкой. В то время, когда происходит действие этого рассказа, Тима еще не исчез из Москвы неведомо куда, не то в Республику Эйре, не то вовсе в Квебек, не предался еще огнепоклонничеству, не погрузился в дзен...

Неподалеку устроился, совершенно не привлекая к себе внимания, просто равный среди первых, небезызвестный N (МВД, Рособсчет, снова МВД, думский комитет по льготам и привилегиям). Он пока был жив, ничто не предвещало дурного.

И Руслан, кажется, Абстулханов, все его звали просто Абстул, как-то мельком позна-

комили его с Иваном Эдуардовичем Добролюбовым, могли возникнуть общие интересы в области привлечения привозной рабочей силы, но потом отпало, Абстул этот тоже там сидел, вроде бы уже принял сильно или нанюхался... Говорят, и он погиб вскоре, ну, следовало ожидать.

И еще там было много народу, все знакомые.

Сидели, выпивали-закусывали, приятно беседовали.

Постепенно, по мере того как время шло к полуночи и кончалась бутылка рекомендованного Ивану бордо, да и не только его бутылка, разговор делался, конечно, все более общим.

Потом все оказались почему-то за одним столиком, даже Петр Павлович, налили каждый своего напитка, замолчали и стали вдруг слушать Ваню Добролюбова, а он принялся произносить какой-то не то тост, не то доклад, и все молчали, и слушали, и Олеська Грунт не сводила с него прекрасных лживых глаз.

Да, говорил Иван Эдуардович Добролюбов, я строю дома, и все знают, что нет в этом городе лучше домов, чем мои. Разве вы все не живете в моих домах, а те, кто еще не живет, разве не собираются в самое ближайшее время поселиться в одном из них? Где жили раньше вы все, исключая разве что Тиму, ты, Тимка, знаю, и раньше жил неплохо, на Котельниках, а остальные? В пятиэтажках вонючих вы жили, вот где, в хрущобах,

в бараках с дровяным отоплением и кривым сортиром через двор,
в перестроенных ночлежках без телефона, какой там телефон,
в совхозных общагах, в общагах заводских,
в молодежных домах гостиничного типа с одной кухней на этаж,
в засанных подъездах с засранными лифтами,
в скудности и уродстве,
в убожестве и смраде,
в мерзости и гнили
была ваша жизнь.

Я, Ваня Добролюбов из Йошкар-Олы, построил вам дома. Я построил эксклюзивные резиденции с пентхаусами и, блин, инфраструктурой, блин, с видео, блин, наблюдением и фитнесом, блин, блин, блин, с паркингом на хренову тучу машино-мест, но вам все равно мало, с укрепленными под ваши джакузи и трехтонные ванны перекрытиями, с венецианской штукатуркой и каррарским, ё, мрамором в холле-вестибюле, с колоннами, ё, внутри, ё, квартир, ё, по индивидуальным, ёханий бабай, проектам, эксклюзив-люкс, грёбанный мамай, для обеспеченных господ, блядь!

И не думайте, что я только это построил.

Может, вам нравится жить на земле, а не в воздухе, и вы предпочитаете коттеджный поселок клубного класса в лесу, все коммуникации центральные, быстрый Интернет, магазин-ресторан-школа? Так знайте, что все это тоже построил я.

И таунхаусы я построил.

И усадьбу дворцового типа, берег реки, ландшафтные работы, один и пять гектара — я!

Я, Добролюбов И.Э., 1969 г.р., мужской, русский, незаконченное высшее, я дал вам главное, что отличает вас от ваших родителей, от их родителей и от предков, глотавших дым и давивших тараканов в черных избах под соломой, что отличает вас от современников, которым не повезло, от оставшихся в советских бесплатных квартирах с кривыми стенами и потолочными синяками протечек, от бомжей, в конце концов, — я дал вам достойное человека жилье! Вы говорите, машины? А я говорю — фуфло ваши немецкие, английские, японские, шведские и все остальные железяки! Первые пятьдесят штук украл, купил без пробега по России, а тут столб, и привет со списанием... Дом в дэтэпэ не расплющишь. Элитное жилье — вот светлое будущее, которое столько лет строили все, а построил я. Элитное, слышите, уроды? Это я сделал вас элитой, я, а не Ельцин. Конкретно я.

Но все это — говно.

Потому что думать нужно о душе, брателло. Можете мне верить, я отвечаю за базар, и если я говорю о душе, то я готов мазать с любым, что без души все — говно, как я уже сказал выше.

Короче. Я подумал о душе. И я понял, что нужно душе, господу. Небо, вот что.

Дом, обычный дом, как бы ни был он хорош, это только пещера, для уменьшения

объема земляных работ не вырытая в земле, а построенная на земле. И как бы ни был высок обычный дом — двадцать, сорок, сто сорок этажей — это только нарост на земле, искусственная гора с искусственными пещерами, и мы, те, кто живет в таком доме, всего лишь дикари, трусливо вцепившиеся в землю, навеки поселившиеся на земле.

А жить надо в небе. Там хорошо душе, светло и пусто. Она понемногу привыкает к своему будущему пээмжэ, ночью она вылетает в окно и бултыхается в восходящих и нисходящих потоках на уровне привычного этажа. Обычные же человеческие души, покидая, как положено, на ночь тела, вынуждены пользоваться дымоходами или вентиляционными шахтами, что неприятно. Жить надо в небе, там наш дом. И не надо ждать, пока тебя пригласят туда, пока врачи передадут приглашение, а священники помогут собраться, надо переселяться по собственной инициативе и с моей помощью.

Внимание!

Открытое акционерное общество «Вавилон» строит в Москве самый высокий в мире дом. Этот дом соединит землю и небо. Ограниченное количество квартир. Гибкая система скидок. Достань до небес!

Иван Эдуардович умолк и огляделся. В клубе было на удивление спокойно, многие столики опустели, из знакомых не осталось почти никого. А те, кто остались, никакого внимания на Добролюбова не обращали, будто и не он только что произносил гордые и страшные слова. «Может, — поду-

мал враз оробевший богоборец, — и действительно не говорил, то есть только мысленно?..»

Впрочем, Тимофей Болконский, кажется, все слышал. Он сидел в своем углу, задумчиво жевал сигару, качал серьгами, гладил бородку, внимательно смотрел на Ивана...

Ну, Ваня, наконец сказал молодой Болконский, пиарщик ты, надо признать, супер. Только вот не смущает ли тебя...

Что еще, суетливо перебил Добролюбов, уже понимая, о чем идет речь, но не желая понимать, что еще меня должно смущать? Там скальное основание, есть результаты глубокой георазведки, есть заключение академии, есть...

Да какая, к херам, академия, усмехнулся начитанный юноша. Ты же ведь знаешь про результат первой попытки? Наверняка знаешь...

Добролюбов хотел послать Болконского в жопу, но не успел, потому что между ними вдруг оказался какой-то неизвестный молодой мужчина в черном кожаном пиджаке поверх черной же майки. Толстым зеленовато-бледным лицом и круглой, наголо стриженной головой незнакомец напомнил гусеницу.

Слушай, брат, обратилась гусеница к Добролюбову, твоя же фирма «Бабилон» называется, так? Давно хочу у тебя спросить, в каком смысле Бабилон, а? В смысле бабла, правильно? В смысле там же метр стоит не мерено, да? В том смысле, что несите, зна-

чит, бабло, ну? В смысле того, что куда бабло несут, там и Вавилон, нет?

И опять не успел ничего ответить Добролюбов, а Болконский вмешался из-за спины любопытного мужчины. Если бы от бабла, сказал наследник богатых культурных традиций, то получилось бы «ваблон», а Вавилон — это в честь песни. Знаешь, братан, есть такая песня: «О, Вавилон! Йе! Там-там-туда-туда... О, Вавилон... Йе...»

Ну, сильно обрадовался гусеничный человек, конечно! Я только не въехал с ходу. Кто ж не знает! Битлы! О, вавилон, йе! Ну, пацан, ты все просек, да? О, вавилон...

Тут едва не бросился Иван Добролюбов на дурака, но не бросился.

Потому что исчез дурак, и Болконский исчез, и клуб Володички Трофимера исчез вместе со всеми гостями, многие из которых ушли, как было сказано, еще до этого.

И вообще абсолютно все исчезло.

А немного позже закончилась и эта история, относительно которой с самого начала было ясно, чем она закончится.

Башню строили-строили и достроили наконец почти до неба, так что облака, а особенно низкие дождевые и снеговые тучи поползли по ее темным стенам, разрывающиеся этими стенами в клочья. Небо почернело, вдали загорелись на нем багровые огни — не то атмосферные электрические разряды, не то рекламные неоновые буквы слова ВАВИЛОН, не то цифры проклятого телефонного номера. По этому номеру позвонишь, а там вой какой-то, вопли страшные, пламя

гудит... Маленькие люди еще тянулись по галерее, спеша завершить свои строительные дела, глядя кто в небо, кто на землю, но уже не слышен был между ними русский понятный разговор, опасались они, видимо, употреблять ласковое слово «мать» и другие слова на такой высоте, стыдились, и стали говорить на своих языках, и не могли более понимать друг друга. Таджики, которым уж больше нечего было копать, а потому используемые на подсобных погрузочно-разгрузочных работах, не понимали пришепывающих молдаван, украинцам казалось, что армяне не говорят, а кашляют, поднаятые в помощь иностранцам рязанские только охали да переспрашивали – на том все и остановилось.

Законсервировали, в общем, стройку. Акции ОАО перешли за долги городу, что потом с ними стало, неизвестно. Недострой хотели вроде разбирать, но на это денег не нашлось, а пока искали и отбивались от общественности, возмущенной изуродованным городским пейзажем, проблема решилась сама собою.

Стены стали оседать, оплывать...

Пошли в рост на камнях тонкие деревца, поселились в руинах большие, не виданные прежде птицы...

Потекли, шурша, песочные струйки...

Дунул ветер, и улетел песок...

Сгинул «Бабилон», туда ему и дорога.

Добролюбова жалко, это правда. Была у него мечта, высота-высота, как у летчика из песни, но не сбылась. С другой же сторо-

ны — гордыня должна быть наказана и наказывается всегда. Да не так уж он и пострадал, говорят. Небольшой бизнес у него вроде бы остался на Кипре, ремонт и обслуживание высотных зданий. Ну, лишь бы не заносился.

Нам-то хуже.

Смешались языки, и не понимают люди друг друга. Ходим мы по дорогам, а вокруг — все чужие. Неба не достигли, землю же утратили. В вышине над стенами тьма, во тьме над стенами огни, осыпаются стены прахом, и нет уж города, а ведь был.

ХОДОК

Году примерно в шестьдесят девятом... или восьмом... нет, все-таки в девятом, после Чехословакии... да, точно, как раз застой стал силу набирать, в кругах московских полудиссидентских — в мастерских подпольных художников, среди постоянных посетителей джазовых концертов в окраинных дэка и просто по кухням, где любили посидеть с гитарой под безобидного Визбора, — прошел слух о происшествии отчасти комическом, отчасти же трагическом и даже с политической окраской. Героем события называли некоего Иванова, человека в этих компаниях известного.

Кем был Иванов по профессии, толком никто не знал. Одни считали, что он работает старшим научным сотрудником, причем с докторской степенью, в каком-то закрытом НИИ, и даже знали, где этот НИИ располагается: возле метро «Лермонтовская», в мрачном бывшем дворце царского министра путей сообщения, стоявшем за трехметровым забором со львами и грифонами. Другие были уверены, что Иванов —

геолог, полгода проводит в экспедициях, а потом тратит сумасшедшие геологоразведочные деньги. Третьи утверждали, что он врач какой-то безответственной, но денежной специальности, не то уролог, не то косметолог, что было равно дефицитно, предполагало большую подпольную частную практику и соответствующие заработки, не говоря уж о связях.

В пользу первой и третьей версий говорило его дружеское прозвище «Док Ходок», то есть «док» в смысле «доктор», а про ходока позже. В пользу второй была красивая борода, в которой он появлялся время от времени, а потом сбрасывал, открывая полностью еще более приятное без нее дамам лицо.

Впрочем, профессия Иванова нам совершенно не важна, а важны именно дамы.

В их честь, как вы уж, верно, догадались и назван был герой наш ходоком заслуженно.

Отношения его с женщинами тогдашнему — даже вольномыслящему — обществу представлялись вполне аморальными, теперь же, в наши, как говорится, отвязные времена после полной и окончательной победы мировой сексуальной революции, могут и ретроградам показаться романтическими и даже наивными.

В грубых мужских компаниях тех лет особо энергичных любителей постельного занятия делили на две категории. Из сочувствия к нажитому с возрастом целомудрию пожилых читательниц (которым, подчерк-

нем, главным образом и адресованы все наши литературные труды) приведем здесь названия этих подразделений в щадящих написаниях: «гребарь» и «звездострадатель». Пояснять подробно разницу смыслов и смысл разницы, вероятно, нет смысла, все понятно даже вышеназванным суровым оценщикам текста. Скажем кратко: первая разновидность более посвящала себя механико-биологической стороне дела, вторая — эмоционально-психологической.

Сообразительным уже понятно, что Иванов безусловно относился к разряду именно страдателей. Индивидуальные же его особенности присвоили ему звание «ходок», в котором отразились неутомимость чувств в сочетании с их недолговечностью. Он влюблялся быстро и бешено, совершал дерзости и безумства. Например, на ночь глядя мог поехать без предварительной договоренности в Дегунино, тогда еще почти недосягаемо окраинное, где в грязи однажды перевернулся троллейбус, прождать предмет желаний за помойными коробами напротив подъезда полтора часа, потом объясняться огненным шепотом еще минут двадцать, потом пробраться вслед за потерявшей всякую осторожность слабой женщиной в малогабаритную «распашонку» — а, забыли, что это такое, обитатели нового русского жилища! — и там, стянув на пол матрас, сотрясать любовью панельное строение, меж тем как за одной звукопроводной стеной чутко храпели родители, за другой тонко сопело дитя, сотрясать до самых четырех

утра, поскольку муж должен был вернуться после ночной работы на электронно-вычислительной машине М-20 около шести, в четыре же выскользнуть бесшумно, доодеться в лестничном ознобе

и к первому троллейбусу успеть на остановку — в тоненьких ботинках, в плаще китайском стильном, но не новом, внимание народа привлекая нездешней бледностью...

Однажды мужа встретил.

Тот равнодушно взглядом оценил какого-то залетного стилиягу и поспешил, усталый, отсыпаться.

А через месяц Иванов уже и представить себе не мог какого-то Дегунина, какую-то робкую жену инженера, хотя иногда пытался с доброй усмешкой вспомнить рискованную поездку и сохранял в целом теплое чувство к Нине... нет, к Тане... скорей все же к Лене. Но уже новая любовь занимала все его время и силы, он неудержимо рвался в Шмитовский проезд, где в темной глубине коммуналки его ждало счастье, и там под утро он лежал без сна от переутомления, думая «а вот возьму и женюсь, и все!». Это счастье длилось иногда целый квартал, Иванов даже переезжал в Шмитовский, здоровался любезно с соседями на коммунальной кухне и, выдадим секрет, в это время почти семейной жизни как раз и отращивал бороду, знак успокоения, однако...

В общем, не будем продолжать, все ясно. Тип этот давно описан так, как мы и не зама-

живаемся, только робко обозначаем — периодически размещая текст столбиком — наше знакомство с источниками.

Вернемся лучше к событию, о котором было начали рассказ, но, как обычно, отвлеклись.

Очередная любовь Иванова имела жилищные условия исключительные: в высотном доме на площади Восстания. Стоит ли описывать прекрасную квартиру с тяжелой казенной мебелью, голубыми коврами и приемником «Фестиваль»? Не стоит, те, кто бывал в таких квартирах, и сами все знают, а кто уже не застал выделяемого ответственным работникам солидного комфорта, все равно представить не смогут. Скажем только, что квартира в высотке принадлежала товарищу Балконскому, руководителю многих творческих организаций, автору знаменитых пьес, поэм и всенародных песен, Герою Социалистического Труда, лауреату всех степеней и, как болтали безответственные и дурно настроенные люди, генералу КГБ. Ведь у нас тогда как считалось — если живет благоустроенно, карьеру, особенно художественную, делает не по способностям, а получает по потребностям и даже с избытком, так сразу и КГБ, и обязательно генерал. А что просто подлец и хитрован, это было бы слишком скучно.

Да. Ну, женат Устин Тимофеевич Балконский был на молодой красавице из древней благородной семьи Свиных, случайно уцелевших благодаря отрешенным музыкальным занятиям в ранге консерваторских

профессоров и умению выдавать своих престелстных дочек за крупных партийно-государственных деятелей. Брак это был с его стороны четвертый (по некоторым биографиям — шестой) и очень счастливый. Жена Анечка его обожала, любила гладить по обнаженной, сплошь покрытой пигментными свидетельствами жизненного опыта макушке и понемногу, сидя днем одна, уже писала красивым школьным почерком воспоминания о последних годах жизни великого человека. Дача большая была переведена на нее, старшие дети получали дачи среднюю и малую, «Волгу» она вообще сама водила, а по части сберкнижек все недвусмысленно регулировалось завещанием, ей на предъявителя, сыновьям именные — словом, все счастливые семьи, как известно, так живут, а несчастные как попало.

Как вдруг черт нанес на Анечку Балконскую этого Иванова! В Центральном доме литераторов (имени Фадеева, если кто забыл), стоявшем буквально через площадь от семейного гнезда, на закрытом просмотре в рамках недели французского фильма, встретила она проникшего не совсем легально симпатичного знатока Годара — и погибла. Разговорились, сидя по соседству в большом плюшевом зале, выпили знаменитого кофе в не менее знаменитом буфете, расписанном по стенам соответственно знаменитыми посетителями, и даже рюмку коньяку против обыкновения она выпила да и, ни мало ни много, привела в этот же вечер мужчину к себе. Совсем с ума сошла —

мимо вахтерши с фотографической памятью, мимо грозных соседских дверей, мимо всей нашей советской морали, точнее, прямо топча эту мораль сапогами-чулками, которые неделю назад привез ей из Италии, с конгресса драматургов, сам Устин Тимофеевич, а через два дня снова командировался на съезд европейских переводчиков его творчества в небольшой город Хельсинки, так что теперь отсутствовал...

И прислуга уже на ночь ушла.

А, да что говорить! Все и так понятно. В жарком и быстро сохнувшем чистом поту страсти, то засыпая мгновенно на несколько тихих минут, то пробуждаясь одновременно, так что открывшиеся глаза оказывались близко-близко к противоположным открывшимся глазам... Ты давно не спишь, минуту только, и что же ты делала эту минуту, на тебя смотрела, да, на тебя, ты что, снова, о, только не придави меня совсем, не-при-дав-лю, не-при-дав-лю, не-при-дав-лю... В поясничной ломоте, во внезапном голоде до головокружения, в бесконечности продолжений прошли двое с половиною суток.

По истечении же этого времени последовало прощание как бы ненадолго — надо признать, какое-то скомканное и скороговоркой прощание, будто они спешили разлучиться, чтобы уж не отвлекаясь заняться воспоминаниями о минувшем безумии, потому что и ему, и даже ей уже хотелось именно воспоминаний, а не самого безумия, — и Иванов побежал к метро.

То, что произошло в наступившую затем неделю, никакого материалистического объяснения не имеет, хотя на самом деле имеет, конечно. Все причинно-следственные связи за семь дней перепутались и затянулись петлистыми узлами, как затягивается слишком длинная нитка в неловких руках избалованного домашним уходом салаги, пришивающего в мерзлой казарме свой первый подворотничок. Но не порвались...

К еле очнувшейся Ане на исходе второго дня томительных воспоминаний вернулся муж. Шофер внес чемоданы, старичок потянулся вверх, чтобы поцеловать соскучившуюся девочку еще до выкладывания галантерейных, парфюмерных и носильных подарков, да так и застыл, глядя в милые глаза.

Уж каким образом он там разглядел то, что разглядел, неизвестно, хотя удивляться нечему — и не в такие глаза он смотрел, было время, своими, почти невидимыми в черепашьих складках черных нижних и желтых верхних век, глазами. И многое умел рассмотреть: и свою уже почти неизбежную гибель, и еле видимую возможность спасения, и даже имя того, кем вот сейчас, сию же минуту надо откупиться от собственной смерти, назвать это имя, после чего погаснут огненно-желтые глаза и тихий голос ласково скажет: «Падлец ты, Устын, но умный падлец...»

Словом, все понял Устин Балконский. Но движение свое закончил, жену, дотянувшись, поцеловал, открыл, кряхтя, чемоданы и презентовал всю мишуру капитализма

той, ради которой постыдно бегал по финским лавкам. А спустя некоторое время ушел в кабинет и занялся там важными делами — то есть час с лишним звонил по разным телефонным номерам, обращаясь к очередному собеседнику то по-партийному, с именем-отчеством, но «на ты», то вообще никак не обращаясь, а один раз даже полным званием.

Результат этой мстительной деятельности последовал назавтра же.

В отвратительной однокомнатной квартире, которую — откроем еще один секрет — наш Иванов снимал, лишившись своего жилья в результате последовательности жень-тьбо-разводов, загремел среди дня, когда все серьезные люди находятся на предприятиях и в организациях, дверной звонок. Иванов, не имевший постоянной работы и, будем уж до конца откровенны, кормившийся мелкой спекуляцией, известной в народе под названием «фарцовка», а потому находившийся днем дома и в трусах, сдуру пошел открывать. И ведь не ждал никого, чего ж понесло беспечного глупца к двери с бессмысленным вопросом «кто там»? С лестничной площадки твердо ответили, что участковый на предмет проверки паспортного режима. Поскольку московская прописка в квартире предпоследней жены сохранилась, Иванов спокойно открыл властям, которым наверняка настучали вредные соседи.

Тут же в квартиру вошел настоящий участковый и еще двое мужчин, в которых да-

же ребенок-дошкольник, родившийся и выросший лет до пяти на родине социализма, немедленно распознал бы известно кого. Участковый остался в прихожей, скучно глядя на свои измазанные почвой участка ботинки, а двое прошли в комнату следом за отступавшим спиной вперед Ивановым. В комнате растерянный хозяин попросил их садиться, на что один из гостей ответил шуткой: «Мы постоим, а кто сядет, это суд решит». После чего он же — второй только молча смотрел в лоб Иванова, примерно на три сантиметра над переносицей — быстро и понятно изложил суть дела. Суть была такая: паразитический образ жизни, спекуляция товарами широкого потребления, перепродажа чеков, имеющих хождение в сети специальных магазинов «Березка», постоянное общение с отщепенцами советской культуры, так называемыми художниками и музыкантами, два установленных эпизода контактов с гражданами капстран и, наконец, систематическое и циничное нарушение норм советской морали. Все это вместе тянет не то что за сто первый километр, но и на химию, а учитывая некоторые особые обстоятельства — и на настоящие лесозаготовительные работы общего режима, года на три, о чем народный суд Бабушкинского района столицы и вынесет, несомненно, быстрое решение.

И ведь как в воду глядел! Именно три, именно общего, с отбыванием в исправительном учреждении п/я 1234, то есть в недалеком от города Йошкар-Ола небольшом

лагере, куда, сообщим, забегая вперед на месячишко, и отправился осужденный, вернее, осужденный, с ударением на букву «у».

Иванов сидел, чувствуя зябкую беспомощность, которую всегда чувствует человек в трусах среди мужчин в толстых демисезонных пальто. Стыла тишина, нарушаемая только доносившимися с улицы редкими дневными звуками пустого микрорайона. И в этой тишине вступил наконец со своей главной партией второй визитер.

— Будешь, земля, смотреть, — сказал он и мягко, совершенно по-дружески улыбнулся Иванову, — кого пялишь. Понял, Док Ходок?

Понять-то было нетрудно все с самого начала, одно только изумляло нашего героя и тогда, и долгие годы потом, и нас по сей день изумляет: как же был разоблачен оскорбитель семейной чести товарища Балконского, да еще разоблачен так быстро, и обнаружен черт его знает где, в Бабушкине, в котором и прописан не был? И ведь даже прозвище нарыли! Одних показаний памятной вахтерши тут не хватило бы... Да, работали товарищи, хорошо работали, грамотно, ничего не скажешь, берегли вверенный им общественный строй. И даже странно, что в конце концов не уберегли, а потому приходит мысль — да полно, точно ли хотели уберечь-то? Или сами?..

Ну, не нашего ума дело. Нам, в смысле автору, вообще не следует заноситься и много брать на себя, предлагая свои ответы на все вопросы. Нам дай бог только историю до

конца досказать в том ее натуральном виде, в котором вручает всю свою историю народ нашей бумажной братии. Лишь некоторые слова можно заменить еще более лучшими, в смысле вычеркнуть, например, здесь «еще более», а сверх того — ни-ни!

Итак, поехал Иванов сводить мордовский лес...

То есть Йошкар-Ола — это Мордовская АССР или Коми-Пермяцкая? Или Коми — это Коми-Пермяцкий автономный округ, а не АССР? И где тогда Сыктывкар, черт возьми?!

То-то и оно. Вы даже толком не знаете, где это все находится, а человека туда привезли в вагонзаке и поставили на общие работы. Мороз тридцать восемь, бензопила «Дружба» визжит от усталости, чирьи смыкаются на спине, распространяясь от шеи и задницы, гастрит ежесекундно переходит в язву, и голодные боли режут живот поперек... Беда.

Однако живуч человек! Даже чирьи проходят, оставляя лишь синие плотные пятна, а те понемногу рассасываются под животворными лучами весеннего солнца, стоящего прямо над крышей барака. В его гнилых, но чисто побеленных стенах собрано все лучшее, что дал развитой до предела социализм своим неуклонно встающим на путь исправления гражданам: медпункт, библиотека и красный уголок, а на горячем рубероиде крыши принимает оздоровительно-косметические процедуры з/к Иванов. Надо же — и полугода не прошло, а так

он зарекомендовал себя в глазах администрации, что не просто в придурки пролез, но стал даже тройным придурком, вот ведь как бывает. В медпункте он работает медсестрой, мажет всех нуждающихся поверх чирьев зеленкой, а заслуживших — даже ихтиоловой мазью, распространяющей прекрасный запах деликатеса, дает проглотить в своем присутствии таблетку-другую аспирина от температуры, цитрамона от головы и бесалола от желудка. Спирта у него в медпункте, конечно, нет, а уж настойки пустырника или боярышника — тем более, не ресторан, но слухи ходят, что есть... В библиотеке выдает книги: уважаемым людям и своим корешам разрозненные голубые тома Жюль Верна, прочим же — «Семью Журбиных» писателя Кочетова, «Стихи о Родине» в переводе с лезгинского, молдавского, уйгурского и других братских языков, а также книгу неизвестного автора из жизни заграничных крестьян не то XIX, не то даже XVIII века, без первых восьми и неведомого количества последних страниц. Выдавая эту книгу, он записывает так: «Неизвестный автор. О древних французских колхозниках. Выдано з/к Толстагуеву» — развлекает сам себя... А в красном уголке он ничего не делает, только метет пол и протирает иногда лавки, поскольку используется этот уголок исключительно два раза в год, перед Первым мая и Седьмым ноября, но в эти периоды там всем командует лично майор Добролюбов Эдуард Вилорович — сам читает собственноручно написанный по материалам

центральной «Правды» доклад о достижениях народного хозяйства СССР и борьбе трудящихся всего мира против империализма, неоколониализма, ревизионизма и догматизма, сам же руководит и художественной самодеятельностью в лице уже нечаянно упомянутого Толстагуева (тяжкие телесные, баян), а также Николаева (преступная халатность, песни советских композиторов под баян Толстагуева), Миколайчука (хищения кооперативно-колхозной собственности, народная украинская песня «Ой, по-пид горою» а-сарелла), Николаевича (соучастие в форме недоносительства, танец-чететка под тот же баян) и Мильштейна (он же Троицкий, частно-предпринимательская деятельность, рецидив, стихи поэтов Есенина и Рождественского)...

Опять мы отвлеклись. Вечно так — начнешь рассказывать занимательнейшую историю, ну, казалось бы, и гони скорее сюжет к концу, к развязке, к раскрытию мучающих читателя тайн, к поучительным выводам, но нет, никак не получается. Лезут и лезут откуда-то мелкие побочные детали, подробности всепоглощающего быта, лица какие-то посторонние всовываются, кривляясь, в повествование... И совершенно справедливо указывают впоследствии некоторые критики на излишнюю описательность, затемняющую и идею произведения, и характеры героев.

Словом, вернемся к вопросу: как же оказался Иванов в такой завидной позиции, всего за неполных полгода поднявшись

с общих работ до горячей рубероидной крыши?

Как-как... Очень просто, могли бы и сами догадаться да поискать женщину, не дожидаясь пошлой подсказки. Тем более, что не просто об Иванове идет речь, и прозвище Док Ходок он получил не зря.

Вольные, тем более члены семей военнослужащих, передвигались в то время по исправительно-трудовым учреждениям практически совершенно свободно, по мере желаний и необходимости — время-то уже повернулось на беспорядок, на нарушение всех инструкций, на ту, не побоимся сказать, вседозволенность, которая в конце концов и сгубила страну.

И вот шла Лаура Добролюбова короткой лесною дорогой в продуктовый магазин на станцию и вышла на ту делянку рабочей зоны, где корячился неумелым и отстающим обрубщиком Иванов.

И вот задубевший на морозе конвой супругу товарища майора, молодую и потому красивую женщину, поприветствовал радостным со скуки отданием чести и предложил отдохнуть возле маленького костерка, в который — быстро пошел, чмо, быстро принес! сейчас, Лаура Ивановна, вообще ташкент будет! — высокий заключенный с красивыми и необыкновенно даже для его положения грустными глазами тут же подбросил мелких веток.

И вот, подбрасывая в огонь эти липкие от смолы ветки, поглядел он прямо в ее довольно прекрасное лицо, немедленно выра-

жившее сильнейшую любовь и готовность отдаться этой любви.

И вот участь их была решена на небесах в тот же миг.

Но Иванов на провидение не стал безраздельно полагаться, а, собрав всю свою быстроту ума, которая и прежде его не раз выручала, успел шепнуть комендантше свою простую фамилию и номер бригады. А уж как он догадался, что это комендантша, неизвестно. Он и сам потом понять не мог.

Как бы то ни было, но судьба его заскрипела всеми своими кривыми колесами, дернулась и, выбравшись из глубокой колеи, покатила совсем в другую сторону.

Лаура к мужу не совалась, разумеется, ни с какими просьбами, только обратила его внимание на то, что и медпункт уже давно, после того как сактировали латышафельдшера, закрыт, и библиотека пылью заросла с тех пор, как откинулся прежний библиотекарь, и в красном уголке ей пришлось самой порядок наводить перед последними ноябрьскими, только солдатики помогали, а от них какая же помощь, грязьшу размазали по полу сапогами, да и все. Майор Добролюбов задумался, поскольку всегда прислушивался к женскому мнению супруги, закончившей педагогическое училище и по бездетности много читавшей газеты и журналы. А пока он думал, само собой как-то оказалось, что назначить на все три культурные должности некого, кроме как Иванова из пятой бригады, с высшим образованием и москвича.

Как такие решения внедряются в умы даже и вполне неглупых во всех других отношениях мужей, это нам неизвестно. Есть, например, такое объяснение: пока глава семьи спит на спине, сильно втягивая воздух через нос, отчего раздается громкий звук «хр-р», а потом выпуская его между отдувающимися губами с тихим звуком «пф-ф», пока колеблются под ночными движениями воздуха порыжевшие от пота волосы в его открывшихся при закидывании рук за голову подмышках, пока отдыхает его партийный самоконтроль и воля офицера — женщина, положившая голову на сгиб его локтя, беззвучно шепчет: «Иванов из пятой, Иванов из пятой, Иванов...» А наутро, бреясь купленным в санаторном ялтинском военторге лезвием «Матадор» импортного синего с отливом цвета и ополаскивая слегка пошедший ржавчиной станок от серой пены в стальном стаканчике с мыльной водой, муж почему-то думает: «Поставлю-ка я на это дело Иванова из пятой бригады, вот кого!» Правдоподобно ли такое объяснение? Правдоподобно. Ночная кукушка, ну, и так далее. Все они, в общем, ведьмы, и никакой материализм этого не опровергнет.

Так что греется теперь Иванов на крыше под солнышком, а то пойдет подремлет на клеенчатом топчане в медпункте или посидит с книжечкой в библиотеке... Книжку эту он никому не выдает, это книжка великого нашего Пушкина, и выдавать ее жалко, пусть лучше читают стихи о Родине, это и с воспитательной точки зрения полезней.

А раз в месяц майор Добролюбов уезжает на пару дней в управление, и тогда Лаура приходит к Иванову за своим счастьем.

Сплошной свет неба сияет за плотной занавеской-задергушкой медпунктовского окна, и проникает сквозь занавеску, и в этом неподходящем свете совершается любовь Лауры.

Прерывистый свет звезд мерцает за глухой стеною красного уголка, а во мгле большого помещения совершается любовь.

Дымный свет луны пробивает глухие тучи, любовь же совершается в пыльной тесноте библиотечного закутка.

Так и шло.

Так бы себе и дальше шло, но однажды кончилось.

В тот вечер Лаура Ивановна сообщила мужу, майору Добролюбову, что у них наконец будет ребенок, которого они давно хотели, да все как-то не получалось. И у нее было не все в порядке по женским, только за последние недели прошло, как рукой сняло, и у него, признаться, не всегда были силы, уставал очень на службе, ляжет с женою, примется вроде с большим желанием и даже энтузиазмом исполнять что положено, но вдруг сморит его сном, рухнет он на Лауру Ивановну и заснет, а ей приходится выползть, а в майоре Добролюбове весу, между прочим, восемьдесят девять килограммов показала диспансеризация...

К Иванову она больше никогда не приходила.

Он немного поскучал по Лауре, но недолго.

Она же через отведенное природой время родила в ближайшем городе Йошкар-Ола мальчика Ивана. Майор Добролюбов вышел на гражданку, получил в том же городе Йошкар-Ола квартиру и стал жить там с семьей. Там мы их всех — по крайней мере пока — и теряем из виду, так как в дальнейшей судьбе Иванова ни сын его Иван, ни возлюбленная Лаура, ни сам гражданин майор никакого участия не приняли.

Он же, проявив себя решительно вставшим на путь исправления, вышел условно-досрочно через полтора года и, не имея, конечно, никаких оснований для проживания в городе Москве, а, напротив, разрешение жить к ней не ближе ста километров, приехал тайно в столицу. Здесь неутомная его натура искала удовлетворения, только здесь мерещилась ему настоящая жизнь. И на что надеялся, без прописки и с судимостью — непонятно.

В начале семидесятых холодные зимы бывали в Москве. Вслед за тридцать седьмым троллейбусом из темной щели Арбата вылетало, гонимое злобным ветром, снежное полотнище, облепляло лицо. Уши ломило невыносимо, хуже, чем бывало на утренних разводах. Одет Иванов был прилично, в еще даже не вышедшее полностью из моды ворсистое пальтишко чехословацкой марки «Отаван» и отличную кепку, сшитую некогда мосфильмовским мастером, но не по погоде легко.

Толкнув туго подавшуюся дверь, он зашел с угла в Смоленский гастроном и сразу направился в хорошо знакомый отсек кафетерия. Там, отстояв никогда не иссякавшую очередь, взял огненный, но быстро остывающий кофе с молоком, два тонких бутерброда из свежайшего хлеба со слезящейся любительской и пристроился за дальним высоким столиком.

В кафетерии пахло сырым паром от верхних одежд. Пронизывая этот пар, яркий магазинный свет дрожал, отчего казалось, что смотришь сквозь слезы. Никто на Иванова не обращал внимания, хотя наметанный взгляд легко распознал бы в нем побывавшего там, где полстраны побывало, — чего стоила только привычка вытирать опущенные уголки рта кончиками большого и указательного пальцев... Он проглотил последний двухслойный кусок и задумался, вернее, застыл без всяких мыслей над последним глотком бежевой жидкости. Смотрел он при этом на ближний подоконник, скрытый под пластиковой обшивкой. На обшивке кто-то оставил часть газеты...

Проведя в таком бессмысленном состоянии примерно минуту, Иванов наконец понял, что привлекло его взгляд, до этого пустой, а теперь зажегшийся отчетливым интересом.

Газета лежала вверх низом первой страницы, где обычно публикуют некролог, если умирает очень важный человек. Ну, то есть не из самых-самых важных, портреты этих и соответствующие слова помещают вверх

верха той же страницы, но из очень важных и всенародно уважаемых.

И на этот раз некролог там был.

Центральный Комитет, Советское Правительство и множество других первостепенных организаций с глубоким прискорбием сообщали о безвременной кончине в возрасте восьмидесяти двух лет того, чья фотография помещалась над текстом. С фотографии, сквозь узкие щели в черепашьих морщинистых веках, смотрели знакомые глаза, пронизательные глаза выдающегося деятеля советской культуры, верного сына партии, героя и лауреата, председателя и секретаря, прошедшего большой путь, чьи произведения пользуются заслуженной любовью, неутомимого борца за мир и прогресс, чей вклад трудно переоценить, — товарища Балконского Устина Тимофеевича.

Умер товарищ Балконский две недели назад.

Иванов взял газету с подоконника, разгладил и долго глядел в лицо покойного. О чем он думал при этом, мы можем только догадываться, во всяком случае, никакого почтения — хотя бы к смерти, если не к достижениям умершего — не проявил. Легкая ироническая улыбка играла на жестком лице ээка, и даже показалось нам, что произнес он нечто насмешливое, но что именно, не разобрали в банном шуме, который всегда стоит в кафетериях...

Ледяной ветер летел по Смоленке, пересекался с вьюгой, задувающей с бескрайних тротуаров нового проспекта Калинина, раз-

гонялся по улице Чайковского, минуя, от греха подальше, американское посольство, и вылетал на Восстания. Вместе с ветром летел, почти отрываясь от земли, и человек, полы пальто ветром прижимало к продрогшему заду, отчего путник становился еще больше похож на бездомную, поджавшую хвост собаку, он закрывал уже почти обмороженные уши почти обмороженными руками и так влетел в теплый, скучный, тусклый в свете дежурной лампочки подъезд высотки.

Почему вахтерша впустила Иванова, неизвестно. Отчасти могут что-то объяснить слова, которые она пробормотала, увидав вошедшего: «А, вы... Ну, проходите, молодой человек, звонили об вас...» — но, с другой стороны, что они объясняют? Ровным счетом ничего и даже запутывают нас еще больше.

Ползет вверх лифт, фанеровка красного дерева облуплена, латунные поручни позеленели, и до того прекрасен вид этого умирающего богатства, что даже и сейчас, когда вспоминаешь, сердце щемит, а Иванову хоть бы что, не до этого ему было.

Вот, наконец, и дверь. «Аня, — он шагнул в прихожую, стащил кепку, улыбнулся самой грустной из своих улыбок, действовавшей, как он знал, наверняка, — Аня, это я...» Так обычно говорили в советском кино, и он давно понял, что лучше все равно не придумаешь.

...Ах, как прекрасно можно было бы описать все, что последовало за этой удивитель-

но пошлой сценой! Слезы, упреки, ласки, недоговоренности, снова ласки, жар страсти на шершавом гобелене кушетки прямо в прихожей, жар страсти на скользком шелке павловского дивана в гостиной, жар страсти на пыльном сукне письменного стола в кабинете... Прежде мы обязательно предались бы таким описаниям, изобразили бы и пот любви, и все ее судороги, и слова воспроизвели бы стенографически — да, собственно, еще недавно вот тут же предавались! Да, предавались... А теперь вот не станем. Все, возраст не тот, пусть молодежь практикуется, а мы свое отдали этому влажному поприщу — и хватит...

Они, собственно, и рассказать-то другу другу ничего не успели. Теперь, голые и мокрые, как новорожденные, они сидели в прилипающих кожаных креслах и молчали. Свет настольной лампы с медальонами падал на пустое зеленое сукно оскверненного стола, на письменный прибор из бронзы и малахита, на кремовый телефон. Если бы в кабинет вошел кто-нибудь третий, он мог бы заметить в этом свете, что взгляд и у нее, и у него отчужденный, нет в их глазах ни любви, ни даже похоти, а одна лишь безразличная усталость.

Но третий, хотя и присутствовал в квартире, войти не мог. Третьим был Тимофей Устинович Балконский, без малого двух лет от роду, тихо спавший в кроватке с сетками по бокам. Кроватка стояла рядом с большой кроватью в спальне родителей, из которых один, а именно покойник Устин Тимофее-

вич, никаким родителем Тиме, конечно, не был. К этому месту нашего рассказа уже и вы, должно быть, догадались, что у Иванова было два сына, вот Тима как раз второй и есть (хотя по возрасту старший на полгода, чем первый упомянутый, Иван). О-хо-хо-хо-хо, вот ведь как поворачивается жизнь! Ей-богу, как в самом последнем сериале, даже не бразильском, а чисто мексиканском... Ну, а с другой стороны, что поделаешь? Дети, они и есть дети, куда деваться.

А Тиму этого вы наверняка знаете, его часто по телевизору показывают. Он потом поменял квартиру по просьбе матери — в высотку на Котельниках переехали, и одну букву в наследственной фамилии, теперь он Болконский, а как же. Тем более, что по матери Свинын, кругом, получается, знать. Опора державы, она всегда при деле. Тимофей Болконский, неужели не слышали? Кинорежиссер, и программу ведет телевизионную, не помню точно, как называется, и во время выборов о нем чего-то писали... В последнее время, правда, не видно, говорят, уехал за границу куда-то. Вроде бы в Рейкьявике видели... Но вообще-то очень известный парень, с такой бородкой и стриженный наголо... А, вспомнили! Ну, вот... А старшие дети, к слову, так и остались Балконскими через «а», их и не знает никто — один профессор какой-то химии, другой вообще историк.

Между прочим, Иван Добролюбов теперь тоже за границей живет. Не то на Кипре, не то в Израиле. Бизнес у него там какой-то,

что ли... А раньше здесь быстро поднимался, но, был слух, конкуренты достали, ну, и свалил...

А они пока там, в семьдесят первом году, так голые и сидят. И одеться бы уже надо, и не могут двинуться, стыдно как-то вставать, идти за одеждой...

Тут телефон и зазвонил. Во втором часу ночи, кстати.

— Не бери, — сказала Анна, увидав, как он протягивает руку к телефону, — кто может нам звонить так поздно ночью?

— И правда, кто? Не муж ли твой покойный

решил со мной поговорить о нашей дальнейшей жизни здесь, в его квартире? (Смеется.)

Он, видно, думает, что даже после смерти меня он сможет снова посадить?

Вот хрен ему!

(Берет трубку, слушает и падает замертво.)

Трубка дергалась и искрила в его уже коченеющей руке, тихо визжала, изгибаясь и кусая свое голое плечо, Аня Балконская, а на паркете уже и не было ничего, одна лишь горсть праха, которую утром вывели вон.

Сгребли кривым веником в пластмассовый розовый совок, вот и прощай, старик, до свидания.

Несчастный Иванов! Бедный ходок...

Сгинул вместе со своими смешными шестидесятыми-семидесятыми, с девками-бабами, любовью-кровью и всем этим нашим пенсионерским барахлом.

А нам что же осталось?

Пугаться сердечных перебоев, тратить последние силы, впадать в стихотворный, не нами придуманный ритм... Да вспоминать жизнь, бог весть для чего данную нам и уже прошедшую, почти прошедшую, ах, как быстро, как быстро, просто ужас.

СТРАННИК

Когда Кузнецову исполнилось десять лет, он узнал о себе самое главное.

В то время жил Кузнецов в небольшом городе Краснобельске, ходил в четвертый класс семилетки, был твердым хорошистом и посещал, кроме обязательного хора, фотокружок, поскольку родители ничего для него не жалели и подарили зеркальный аппарат «Любитель», а потом и увеличитель, и плоские пластмассовые корытца-куветы с клювиками в углах для слива использованных реактивов, а также стали регулярно давать желтые рубли и синие пятерки на покупку проявителя, закрепителя, пленки, намотанной на аккуратные деревянные катушки вместе со слоем плотной грязновато-красной бумаги для светонепроницаемости, и прочих необходимых фотолюбителю предметов, включая фотобумагу «Унибром» девять на двенадцать. Иногда — почему-то большей частью весной — в краснобельский райпотребсоюз эта бумага приходила просроченной, тогда завмаг Антонина Павловна выбрасывала ее, предварительно списав по акту, в большой деревянный мусорный

ларь, откуда ее вытаскивали мальчишки, знавшие для этого уже никчемного товара — фотографии печатать пробовали, но получались только светлые тени вместо людей — хорошее применение. Вскрыв плотные бурые конверты, Кузнецов и его товарищи вытаскивали быстро синеющую на свету бумагу и устраивались на самом ярком солнце. Каждый прикладывал к своему листу с загибающимися краями растопыренную пятерню, и через некоторое время получал точнейший отпечаток, голубой на уже почти черном фоне. После этого бумажные ладони можно было вырезать принесенными кем-нибудь из дому неудобными большими ножницами и, накладывая одну на другую, сравнивать, у кого больше. На том занятие и кончалось, интереса к нему больше не было никакого, шли играть в ножички на быстро сохнувшей земле, а обрезки бумаги валялись по всему магазинному двору.

Вот Кузнецов и сидел за котельной, где обычно играли в ножички, когда его окликнул одноклассник Профосов.

Этот Профосов недавно приехал в Краснобельск из города Горького, где учился в каждом классе по два года, так что ему уже было почти четырнадцать лет, лицо его переливалось бордовыми буграми и сизыми вмятинами трудного возраста, он многое знал о жизни и охотно делился этими знаниями с младшими товарищами.

— Кузя, — обратился без всякого повода Профосов к Кузнецову, — а как твою мамашу звать? Правда Сара или врут?

С тех пор как Профосов появился в классе, он постоянно задавал всем какие-то такие вопросы, ответить на которые словами было невозможно, а обязательно приходилось с ним драться. Драка же с ним кончалась для любого четвероклассника лежанием на спине и рассматриванием снизу оказавшихся в неприятной близости прыщей, причем гадский Профосов не просто давил побежденного своим большим телом, но и обязательно делал что-нибудь дополнительно противное — например, зажимал костяшками пальцев нос побежденного, отчего потом из носу шла кровь, а то вдруг начинал быстро-быстро поднимать и опускать на лежащего нижнюю часть своего ужасного тела, приговаривая при этом какую-нибудь ругательную шутку, например такую: «Папе сделали ботинки на высоком каблучке, папа ходит по избе, бьет мамашу па... пе сделали ботинки...» — и так бесконечно, или такую: «Ехали казаки, ехали домой, увидели девушку с разорванной пи... ки наставили, хотели воевать, а потом раздумали и стали е... хали казаки...» И ничего сделать было нельзя, потому что он был тяжелый и давил сверху, гад.

Кузнецов точно не знал, надо ли драться с Профосовым из-за вопроса о матери, но чувствовал, что придется.

Город Краснобельск был недавно построен в степи, жили в нем люди, приехавшие из разных мест, и на странные имена здесь никто особенного внимания не обращал. Например, одного мальчика в их же классе

звали вообще Вильгельм, Вилька, фамилия его была Штерн, но никого до приезда Профосова это не интересовало, ну, Вилька, «Вилка» или «Штера». А у Наташки, например, с которой Кузнецов сидел до третьего класса, фамилия была Толстагуева, ну, и называлась она, конечно, «Толстая», тем более что постепенно стала действительно самой толстой в классе. Но просвещенный горьковской жизнью Профосов тут же все изменил. Штеру он стал звать фрицем и даже фашистом, про Наташку орал на перемене «чурка толстохуева», и все ему сходило — Вилька дрался отчаянно, а в результате только передний зуб, который и так шатался, вылетел и влез ему в губу, Наташка просто плакала, жмуря и без того узкие глаза... А учителям или родителям никто не жаловался, как-то стеснялись, к тому же почему-то чувствовалось, что и взрослые ничего сделать не смогут.

Так что про мать никто раньше Кузнецова не спрашивал, но он, как уже было сказано, сразу понял, что драться придется, хотя не знал, что именно обидного в вопросе о материнном имени.

— Ну, Сара, — ответил он, на всякий случай вытащил из земли свой ценный ножичек с ручкой в виде женской туфли и обтер лезвие рукой, чтобы, сложив, спрятать во внутренний карман полупальто.

— Сара Батьковна? — сидя на корточках и привалившись спиной к стене котельной, продолжал Профосов. — Или Сара Абрамовна? Или Сара Засраковна?

Кузнецов уже собрался засветить Профосову, пока тот не встал, но последовавшие слова отсрочили неизбежную развязку.

— Она врачиха, скажешь нет? — Профосов смотрел снизу, и все прыщи сияли под солнцем. — И ты врачом будешь, скажешь нет? Вы ж, жидочки, все идете во врачи или инженера, скажешь нет?

— Я моряком буду, — неожиданно для самого себя сказал Кузнецов. — Поступлю в нахимовцы, буду плавать на учебном паруснике «Товарищ», потом на линкоре...

Но не договорил.

— Не берут жидов на линкоры! — заорал вдруг Профосов, что было удивительно, кричать обычно начинала его очередная жертва, а он всегда говорил спокойно и дрался без крика, только приговаривая с пыхтением свои дурацкие ругательные шутки. — Жидов в одни врачи берут и в инженера, понял, абрамчик! Жидовские врачи Сталина убили, понял, а инженера ваши все шпионы, и ты будешь шпионом!

Кузнецов от этого крика так растерялся, что даже не воспользовался выгодной позицией, чтобы засветить сидевшему на корточках Профосову, а тот уже встал во весь рост и запел, закидывая в наслаждении голову и жмуря глаза, на мотив «Фон дер Пшика»: «Старушка, не спеша, дорожку перешла, ее остановил милицьёнер...»

Он пел, приплясывая, а когда допел до не известных раньше никому в Краснобельске слов «Абраму Сарочка готовит шкварочки», Кузнецов полоснул его лезвием ножика пря-

мо по выгнутому и напряженному от пения горлу.

...Ну, что вам рассказать еще? Давно это было, еще в пятьдесят четвертом году прошлого, ушедшего в непоправимую историю века. Вас тогда, конечно, еще на свете не существовало, да и родителей ваших, скорей всего, тоже. А Илюша Кузнецов уже был, сидел, запертый в учительской на ключ, и мама его, Сара Ильинична Кузнецова, врач-терапевт Краснобельской районной больницы, уже стояла на ватных ногах возле дверей хирургического помещения, где ее коллега, хирург Штерн Фридрих Вильгельмович, накладывал швы на горло негодяя Профосова (кстати, благополучно выжившего и вскоре попавшего по малолетке на три года за ночной взлом продуктового магазина и похищение оттуда товаров на сумму 452 руб. 46 коп.), и папа, Кузнецов Павел Андреевич, член ВКП(б) с 1941 года, русский, но действительно инженер райстройконторы, уже давал в кабинете второго секретаря райкома объяснения по поводу настроений в семье, и приближался неотвратимый после такого кошмара отъезд Кузнецовых из Краснобельска на поезде Челябинск—Москва, трое суток тащившемся по степям, изгибаясь на закруглениях пути, так что из окна становились видны другие вагоны, и оставляя за собой темно-серый и клокастый, как старый воротник из чернобурки, хвост паровозного дыма.

Кузнецов стоял в коридоре вагона, смотрел в окно, держась за блестящий стальной

стержень, на который была надета сборчатая белая занавеска. За окном мчалась пустая степь, а Кузнецов не то заснул стоя, не то наяву ему примерещилось, но увидел он вдруг вместо серо-зеленой полынной степи красно-желтую песчаную пустыню, и пошел по этой пустыне под огненным ветром, чувствуя ногами набивавшийся в сандалии песок, путаясь коленями в длинной холщовой одежде, опираясь на высокий посох, и усталый маленький осел шел за ним, оглашая сверкающее пространство рыданиями, и грозные всадники на верблюдах показались на краю пустыни, изрезав окомое своими черными силуэтами, и изгнание вело его прочь из земли его.

Вот так все и началось.

Да так и продолжается. Только ножика — даже самого невинного перочинного — с тех пор Илья Кузнецов с собой никогда не носит. Некоторые имеют при себе не то что ножи с лезвием в ладонь длиной, необходимой, как известно, чтобы достать до сердца, но и модные в последнее время бейсбольные биты, и отлично сделанные старые кастеты с полированными стальными кольцами, и даже облезло-вороненые пистолеты ТТ китайского ненадежного производства, которых до заклинивания хватает на полобоймы, и обычные «макары», украденные ушлыми прапорщиками с войсковых складов, и чего только еще теперь не носят в карманах, не возят в тайных местах автомобилей, не пускают в ход спьяну, сдуру или с осознанной преступной целью! И все не-

которым сходит с рук, а таким, как Кузнецов, и за негодный газовый баллончик могут срок навесить. Но он, Кузнецов, еще в детстве понял, что ему оружие не положено, и с тех пор до самого нашего, колюще-режущего и огнестрельного времени никогда ни к чему такому не притрагивался и не притрагивается. Так и живет безоружным.

Зато летом шестидесятого года, в котором мы снова находим нашего героя, при нем был аттестат зрелости с серебряным окаймлением, означавшим почти отличное, с одной четверкой по географии, и, следовательно, с серебряной медалью окончание средней школы, — вот как вырос Кузнецов из обычных хорошистов. Да и географическая четверка была выведена после того, как на педсовете директор школы задумчиво спросил у завуча: «А вы, Зинаида Федоровна, с мамой Кузнецова знакомы?» Зинаида Федоровна недолго, но внимательно смотрела в директорские глаза, прежде чем ответить полувопросом: «С Сарой Ильиничной? Прекрасная женщина. И врач очень знающий...» На словах про врачебные качества Сары Ильиничны директор кивнул, а сказал вот что: «По поводу золотых медалистов в районо мнение неоднозначное». Ну, и получил Кузнецов серебряную, конечно. Причем, заметьте, не то что про жидов, но даже и про евреев никто не заикнулся, педагогам такое и в голову не пришло бы, да и в районо к этой национальности относились с уважением, там даже один инспектор работал, так его фамилия

была Фишман. Разные инспекторы — или инспектора, но скорее все-таки инспекторы, ведь районо как-никак — там работали. Владимиров, Сериков, Шкорлупко, Бесчастная Мария Николаевна, Хачатрян, Савельев Н.П., Ширяева... И пожалуйста, Фишман. Семен Маркович, между прочим. А вы говорите...

Да, совсем забыли: это все уже под Москвой происходило, поскольку к тому времени Кузнецовы жили в поселке Электроугли по Курскому направлению, где мама устроилась, конечно, терапевтом в ведомственной поликлинике, а папа тоже неплохо и по специальности — инженером в должности прораба на строительстве нового цеха.

С серебряной медалью и прорешанным вдоль и поперек задачиком Моденова, выпущенным специально для тех, кто при конкурсе до семнадцати человек на место все равно готовился поступать на мехмат, Кузнецов и пошел на мехмат. Там, в приемной комиссии, посмотрели его документы, удовлетворенно отложили в сторону аттестат и взялись за анкету. В анкете все было в полном порядке, родственников за границей не имелось, сам Кузнецов И.П., 1944 г.р., в белых армиях не служил, в плену и на оккупированных территориях никогда не находился, но, напротив, являлся комсомольцем. И все уже шло к благополучной выдаче экзаменационного листа и последующему несомненному включению Кузнецова в список поступивших, как взгляд какого-то мужчины средних лет, сидевшего справа от

председателя приемной комиссии, упал на кузнецовскую анкету и именно на то ее место, где сообщались сведения о родителях. Мужчина — а не Профосов ли была его фамилия? да нет, вряд ли — итак, мужчина присмотрелся, взгляд его стал внимательным, как у завуча на педсовете, и, минуту подумав, он доброжелательно спросил у носившего к тому времени очки Кузнецова, сколько диоптрий. Оказалось, что минус семь с половиной. «Ну, молодой человек, вам у нас трудно будет! — сочувственно сказал мужчина. — Начертательная геометрия, эпюры, графики, то-се... Как же вам справку-то по форме двести восемьдесят шесть выдали? У вас мама не врач?» Кузнецов, уже многое — хотя и не все, далеко еще не все — понимавший, уныло согласился, что врач. «Я вам в педагогический подать советую, — сказал мужчина. — На тот же мехмат, или там физмат? И наверняка пройдете. А зачем вам обязательно в университет? Обязательно вам в университет...» Кому «вам», мужчина не сказал, и почему близорукому, имеющему маму-врача Кузнецову будет легче управляться с начерталкой и эпюрами на физмате педагогического, чем на мехмате университета, не сказал тоже. Во всяком случае, о евреях никто и не заикнулся.

Кузнецов вышел на воздух и побрел от нечего делать к тому недалекому от университета месту, с которого видна была вся Москва.

За рекой был рассыпан город. Над разномерными коробочками домов врезались

в небо редкие шпили, купола, постыдно голые без крестов, кое-где выпирали между крыш, словно груди кормящих баб в прорехи одежды, а на крышах яростно сияли под солнцем новые жестяные заплаты, и так же нестерпимо сияла река, рассеченная уходящим к центру речным трамваем. Кузнецов смотрел на Москву, но другой город он видел — черепичные бурые кровли, белые оштукатуренные стены, на стенах косые деревянные стяжки, круглая площадь с чумной колонной, острый клинок собора, занесенный над чужаком... И круглая черная шляпа давила на его голову, словно чугунная, и длинный черный скюртук стягивал грудь, не давая дышать, и крик толпы приближался, и бесконечная дорога лежала позади него и перед ним, искры кварца сверкали в камнях, которыми замощен был путь, скоро изотрутся по этим камням башмаки, а идти ему еще долго, ибо конца пути нет.

А в педагогическом было неплохо. Кузнецов даже получал повышенную стипендию, достигшую к последнему курсу сорока восьми рублей новыми, однако в аспирантуре Кузнецова не оставили — в конце концов, должны и в школу идти способные люди. А в аспирантуру из их группы приняли Профосова (просто однофамильца), тоже толкового парня.

В московских школах мест, конечно, не было, точнее, было очень мало, и Кузнецов даже почти не расстроился, когда его распределили в город Кривой Рог. Кузнецову показалось, что среди членов комиссии

по распределению он узнал мужчину средних лет, который когда-то отсоветовал ему поступать в университет, но этого быть, конечно, не могло — где университет, а где педагогический... И ведь пять лет прошло, а мужчина совершенно не изменился... Нет, просто похож, видимо. Мужчина глянул на Кузнецова мельком и стал смотреть вдаль, в глубину пустого и темного актового зала, где происходило заседание комиссии. А Кузнецов отправился в Кривой Рог...

Честно говоря, уже надоело нам описывать жизнь Ильи Кузнецова — все и так ясно с этой жизнью. Да, существовало закрытое инструктивное письмо, разосланное из инстанций по всем предприятиям и учреждениям, рекомендовавшее проявлять особый подход при приеме на учебу и работу лиц тех национальностей, которые «имеют свои государства в мире» — так вроде бы написано было в том письме. То есть, кроме евреев, и ни в чем не повинных корейцев, греков, турок, испанцев, немцев, конечно... А возможно, что такого письма и не было никогда. И никакого мужчины средних лет не было, хотя все-таки надо согласиться, что мужчин средних лет у нас было полно, да и сейчас встречаются. И Профосова не было... Нет, уж Профосов-то был точно. Тот самый Петька Профосов, малолетний хулиган, после колонии взявшийся за ум, закончивший ремесленное и проработавший потом вплоть до инвалидности на теплосетях, а сын его, Профосов Николай Петрович, после действительной пошел в ГАИ, буду-

шее ГИБДД, получил по лимиту двушку на троих членов семьи, сам четвертый, в Выхине, дослужился до поста на правительственной трассе, впоследствии, в результате нервной травмы при исполнении служебных обязанностей, был уволен из органов по здоровью и устроился, говорят, в частное охранное предприятие, а папаша его к этому времени уже давно помер от почек, похоронили его на Митинском кладбище, так что там, если знаешь участок, можно найти и надпись на сделанном из бетона с мраморной крошкой камне: «Профосов П.Н. 12.VI.1940 — 26.V.1987», и уж это даже самого недоверчивого из вас убедит в том, что был, был Профосов!

Ну, а Кузнецов, с которым все ясно, пожил в Кривом Роге, под бесконечно тянувшимися серо-желтыми производственными тучами, поучил криворожских детей алгебре, геометрии с тригонометрией, физике и черчению, побыл классным руководителем и, уже будучи на отличном счету в городском отделе народного образования, сделался главным претендентом на освободившуюся должность директора школы, однако директором, как легко догадался к этому месту рассказа любой наш с Кузнецовым ровесник, не стал. Там ведь как получилось: пост директора мог занимать, понятное дело, только член партии, и райком даже выделил под Кузнецова квоту на прием одного человека от интеллигенции, поскольку, кроме Кузнецова, в директора выдвигать было некого, в школе коллектив подобрался, ко-

нечно, чисто женский. Но документы предварительно пошли на соответствующую комиссию, там стали разбираться с анкетой — ну, и тормознули. Сам Кузнецов на комиссии не присутствовал, но ему потом по секрету рассказала школьный парторг Лидия Алексеевна, русский и литература, с которой у Ильи Павловича были дружеские отношения, но ничем, слава богу, не кончившиеся — хороши бы они оба потом были, она партийная, а он... Ладно, это позже. Так вот, Лидочка вывела его из учительской и на лестнице между вторым и третьим этажами, где они нередко как бы предотвращали езду учеников по перилам, шептала ему всю большую перемену, что на комиссии все шло нормально, согласовали и кандидатуры рекомендуемых, и общественную нагрузку на время кандидатского стажа, но тут какой-то мужчина средних лет, которого она не знает, вчитался в анкету, потом подвинул листок председателю комиссии, и сразу же настроение переменялось, буквально за две минуты решили пока повременить, представляешь! Кузнецов даже не стал расспрашивать про мужчину, и так все понял. Чего тут понимать, если мать — еврейка и по израильским законам получается он чистый еврей?

Плюнул Кузнецов и уехал из Кривого Рога, где уже начал понемногу покашливать, снова в Электроугли, где поселился опять с родителями и пошел работать в школу. Был он устойчиво холост, начал с макушки лысеть и постоянно о чем-то сосредоточен-

но думал, а о чем — выяснилось, когда спустя некоторое время умерли родители. Вышли уже оба на пенсию, отец что-то строгал на балконе да там и упал, а через три дня, с похорон, увезли на «скорой» в больницу мать, и, сколько ни хлопотали уважавшие Сару Ильиничну коллеги, к утру остался Кузнецов один на свете. Прибежал он в больницу, долго искал морг, нашел его позади пищеблока и, ожидая перед дверями, услышал, как внутри помещения переговариваются работники. «Которую готовить?» — спросил один. «А во-он ту, еврейку», — ответил другой, не сделав, подчеркнем, никакого негативного акцента на последнем слове, а лишь указав таким образом приметку для поиска покойницы по чертам лица или еще по каким-то особенностям, нам неизвестным.

Именно в этот миг Кузнецов почти додумал — но не до конца, еще не до конца — мучившую его в последние годы мысль. Предшествовавшая жизнь стала ему ясна, как она уже давно ясна нам с вами.

«Ты избрал народ, — думал Кузнецов, не называя имени того, кто избрал (вот ведь интересно, откуда знал отличник по научному атеизму, русский по отцу и по паспорту, что не называемо имя Еgo!), — зачем же отдан избранный народ в унижение и бесприютность? Или для того мы избраны Тобою, чтобы странствовать по земле, покуда не найдется в ней места каждому из нас? И куда следует мне направить теперь взор свой, и душу мою, и каждый шаг мой? Будет ли

мне дан ответ Тобою, или одному мне предстоит искать ответа?»

Так думал Кузнецов, не додумавшись же до окончательного решения, сделал вот что: запер квартиру в Электроуглях, отдал ключ соседям и пошел по миру.

Трудно теперь восстановить его путь, но кое-какими сведениями мы располагаем.

Например, достоверно известно, что некоторое время он провел в Ростове-на-Дону. В этом прекрасном старинном городе есть огромный театр, построенный романтиками в виде трактора — тогда же, кстати, когда в Москве построили Театр Красной армии в виде пятиконечной звезды. Ну, а в Ростове вот в виде трактора. Настоящий трактор, с кабиной и гусеницами, только из бетона и большой. Так одну из гусениц в семидесятые, в застое и разложении, отдали под пивную. И как раз в этой пивной часто можно было встретить Кузнецова. Стал он носить по тогдашней моде длинные волосы, посередине которых все увеличивалась лысина, джинсы клеш, неведомо где добытые, и узенькую короткую курточку, так что всем своим обликом хиппи вызывал неприязнь нормальных людей. Но в пивной к нему относились терпимо, пока не оказался он однажды за столиком с каким-то мужчиной средних лет. Мужчина допил «жигулевское» — надо сказать, вчерашнего завоза — и, внимательно посмотрев на Кузнецова, негромко спросил с местным выговором: «Ну шо, до Палэстины пора, хлопец?» Мужчину Кузнецов, естественно, узнал.

Кое-кто встречал Кузнецова в Ленинграде. Что он там делал, неизвестно, во всяком случае, учителем уж точно не работал. Так просто шел по Литейному, посматривал на серые, взявшиеся кое-где заметной плесенью дома, отворачивал от мокрого ветра лицо... Мелькнул в толпе какой-то вроде бы знакомый, Кузнецов обернулся, долго смотрел вслед, но мало ли на свете мужчин среднего возраста? Что и было тут же доказано: засмотревшийся назад Кузнецов налетел на первого же встречного, который проявил понятное недовольство в следующих словах: «Ты, шмуль, еще одни очки надень. Не пройдешь от вас, куроеды...»

И в Киеве бывал Кузнецов. Сидел в вареничной на Крещатике напротив цирка, ел вареники с картошкой — ах, восхитительная была та вареничная, поверьте, восхитительная! — и вдруг услышал за спиной громкий шепот: «Дывись, доча, який жид!» Обернулся, а там женщина сидит с маленькой девочкой, вареники с вишнями кушают и смотрят на него обе с жутким интересом, такие очаровательные! К слову: если вы по-прежнему испытываете недоверие к художественной правде этого рассказа, вот вам точные данные. Женщину звали Татьяной Терebilко, а дочь ее Олей, в Киев приехали они из города Феодосия в надежде купить недорогого импорта, чехословацкого или с гэдээр, теперь же Ольга живет в Москве, и вы ее наверняка знаете, она... Олеся Грунт по мужу, вот кто! Ну, поверили? То-то же. Так что можете при встрече спросить у этой

популярной девушки, не запомнился ли ей такой смешной, лысый, в очках, патлы длинные, которого ей мама показывала в вареничной. И удостоверитесь, что действительно был такой Кузнецов, точно соответствовавший нашему описанию... То есть почему был? Он и сейчас есть, дай ему Бог здоровья на долгие годы, как говорится. А вот Олеси, между прочим, что-то давно не видно нигде, все небось на Ибике оттягивается. Но, как появится, обязательно спросите.

Впрочем, это все к слову. А вот что действительно интересно — мужчины никакого в той вареничной Кузнецов вообще не видел. Ему и без мужчины хватило.

Еще Кузнецов пожил немного в Омске, Архангельске, поселке Сортировка Хабаровского края, Кишиневе, Октябрьске Куйбышевской области и даже вроде бы в городе с непереносимым названием Мончегорск...

И повсюду средних лет мужчины сталкивались с ним в уличной толпе, оказывались за одним столиком в вокзальном стоячем буфете, сидели напротив в вагоне ленинградского метро, лежали рядом на пыльном ялтинском пляже, а иногда вдруг обращались в молодых красивых женщин, или в пожилых нетрезвых дядек, или в носящихся с криками вокруг давшей ему отдых бульварной скамейки детей, или даже в бездомных пригородных собак, или в ворон, передвигавшихся приставным шагом в дерзкой близости и посматривавших на него искоса. И в говоре толпы, в бормотании попутчи-

ков и соседей, в собачьем лае и картавом вороньем оре слышалось ему все одно и то же, одно и то же, одно и то же.

Нет конца дороге, ноги в кровь сбиты, стучит за рощей, как молоток взбесившегося плотника, пулемет, а вот и разъезд показался, вылетели кони из оврага, заплясали, завертелись на месте, удерживаемые железными руками, и надо бежать, покуда не заметили кавалеристы одинокую фигуру, но куда ж бежать в поле, да и зачем бежать, если избавленье скачет навстречу, посвистывая шашкой в опущенной руке, поднимая драгунку для меткого выстрела с ходу... Но не наступит сейчас избавленье, не мечтай, несчастный, и иди путем, назначенным тебе.

Словом, в конце концов мы его мысленно видим на улице Архипова в Москве, перед ампирным желто-белым фасадом, среди других людей, топчущихся, как и он, без очевидной цели. Вот сошлись двое, поговорили негромко и непонятно для случайного прохожего — и разошлись... А немного позже Кузнецов обнаруживается нами уже в Колпачном переулке, в каком-то казенном здании с узкими коридорами, в которых не протолкнуться от народа. Не то с Архипова все эти люди сюда перебрались, не то другие такие же набились...

Ехал Кузнецов через Вену. Гулял, смотрел на узкие трамваи, вопреки трамвайному естеству двигавшиеся бесшумно, на огромный собор с маленькой, выложенной плитками, как хороший санузел, площадью перед ним,

на необхватные деревья, с которых будто только что вытерли пыль влажной тряпкой. Однажды остановился, заглядевшись на какую-то удивительную мелочь, — и вдруг почувствовал, что и его рассматривают. «Так я и знал, — подумал Кузнецов, — так я и знал». Мужчина средних лет, рассматривавший Кузнецова, сказал что-то на неизвестном Кузнецову здешнем диалекте неизвестного Кузнецову немецкого языка, но по крайней мере одно слово Кузнецов разобрал. Собственно говоря, оно звучало почти так же, как по-русски или по-украински.

В Иерусалиме дул горячий ветер, а с неба тек холодный свет. Кузнецов шел по пустой окраинной улице, застроенной новыми двух- и трехэтажными краснокирпичными домами. Навстречу ему из-за угла вылетел мальчишка лет двенадцати на велосипеде, он гнал изо всех сил, стоя на педалях и прижимая подбородком накиннутый на плечи рябой черно-белый платок. Проезжая, он глянул Кузнецову в лицо прекрасными томными глазами и улыбнулся. Через полминуты Кузнецова что-то сильно ударило в спину, он обернулся и увидел осколок кирпича на тротуаре, пустую улицу и мальчишку, аккуратно положившего велосипед набок и выбиравшего следующий снаряд из кучи строительного мусора.

В октябре Нью-Йорк все еще перехватывал дыхание мокрой жарой, будто весь город был кухней, где кипит и кипит, плюясь на плиту мелкими брызгами, огромный бельевой бак. Между сто второй и сто третьей

улицей к Кузнецову обратился парень, выгружавший из фургона на тротуар у входа в мексиканскую забегаловку большие картонные коробки. Короткие кудри парня были выкрашены в соломенно-желтый цвет, что очень шло к коричнево-сизому лицу. Вали к ебаной матери, проклятый жид, сказал негр, мои мусульманские братья в Палестине уже вставили вам, скоро и мы погоним вас из нашей Америки. Кузнецов плохо понимал этот называющийся красивым словом «эбони» и немного похожий на английский язык. Но то, что сказал парень, понял.

Далеко позади остался бессонный, подсвечивавший невидимое ночное небо цветными огнями центр Мельбурна, а бесконечная Сэнт-Килда-роуд все тянулась и тянулась во тьме, только мигали светофоры на пустых перекрестках. Кузнецов устал и присел прямо на край тротуара. Тут же неизвестно откуда возник мужик в толстой клетчатой куртке и ткнул Кузнецова в бок носком высокого шнурованного ботинка. Вставай, сказал мужик, и убирайся в свою Россию, понаехали и уже всю улицу заняли, деваться от вас некуда, чертовы евреи. Простой и отчетливый австралийский выговор Кузнецов понимал хорошо.

Он летел с тремя пересадками, так получалось дешевле. Из-за этой экономии он оказался в Париже, вернее, в аэропорту Русси, точнее — «Шарль де Голль». Народу было полно, стать негде, не то что присесть. Кузнецова прижали к потному человеку, читавшему французскую газету и пере-

гнувшему ее первую страницу так, что перед глазами Кузнецова оказалась большая фотография каких-то развалин. Томясь тоской — до рейса оставалось еще больше часа, — Кузнецов склонил голову набок, чтобы рассмотреть фотографию получше. Смотри, сказал француз, смотри, еврей, это вашу синагогу взорвали, понял, а скоро мы вас всех отправим туда, куда не смог отправить этот немецкий идиот Гитлер. Кузнецов не знал по-французски ни единого слова, но понял все.

Донесся до него сладкий запах гари, услышал он собачий лай и лающий, совсем не французский говор, толкнули его в спину — шнель, юде, дезинфекцион, — но ему уже было не до этой чепухи, мало ли что может почудиться старому человеку, когда он томится тоской. Не одну тысячу лет, слава богу, прожил, чего только не наслышался...

В Шереметьеве было темно, очередь двигалась еле-еле. Кузнецов присел на корточки, положил листок на чемодан, принялся заполнять. Бланк был почему-то напечатан по-английски, Кузнецов стал писать тоже по-английски.

Destination...

«Какой же пункт моего назначения, — подумал Кузнецов, — какой пункт?»

«Пятый пункт, — подумал он, — пятый, вот какой».

Мимо него, держа наготове темно-красные книжечки с золотой двухголовой птицей, шли местные люди. Никто не проявлял ни малейшего интереса к сидевшему на кор-

точках старику в очках со старомодно толстыми стеклами, с длинными седыми патлами вокруг большой неровной плечи, с неаккуратно расплзшимся по лицу пористым носом... Кузнецов с трудом разогнул колени, выпрямился и тронул за рукав ближайшего в очереди.

— Простите, — сказал Кузнецов, — нельзя ли посмотреть ваш паспорт? Я никогда не видел нового русского паспорта. Если можно...

Мужчина средних лет, улыбнувшись, протянул документ. Все было написано по-новому, поперек. Добролюбов Иван Эдуардович, прочитал старик, 1969 года рождения, место рождения город Йошкар-Ола, паспорт действителен до 2007 года...

— А национальность, — спросил Кузнецов, — а национальность... национальность? Где написана национальность?

— Не пишут здесь национальность, — еще шире улыбнувшись, сказал Иван Добролюбов, — да и во внутренних теперь не пишут. У нас теперь одна национальность, батя, у всех. Ты ж ведь русский, отец? Давно уехал?

— Давно, — Кузнецов отдал паспорт и внимательно посмотрел в лицо собеседнику, — давно... Как вы сказали? Я русский?

— А какой же еще, — настроение у российского гражданина (и, между прочим, кипрского бизнесмена) Добролюбова после трехсот вискаря в самолете было прекрасное, веселое было настроение, и старик этот ему нравился. — Какой же еще, если не русский?! Ты, может, чечен?

— Нет, я не чечен, — Кузнецов все внимательнее всматривался в лицо этого мужчины средних лет и все более убеждался в том, что это не тот, нет, не тот мужчина средних лет, а просто мужчина средних лет, симпатичный и ясный, такой ясный, каких не встречал Кузнецов нигде. — Я, видите ли, еврей по матери...

— Да ни хрена мы здесь не видим, батя! — закричал Иван Эдуардович, будучи, как мы уже сказали, немного выпивши, но никто вокруг не обратил на его крик никакого внимания. — Тем более по матери. Некогда нам тут смотреть, кто еврей, а кто нет. Мы тут бабки рубим, отец, понял? У нас тут половина еврей, понял? Даже больше половины...

Тут он замолчал и задумался, видимо, о национальном составе российского бизнеса. Мысли эти занимали его меньше минуты, а результат размышлений он сообщил Кузнецову вполголоса, слегка даже приобняв батю за плечи.

— Я тебе так скажу, — сказал он, — если б у меня партнер еврей был, так я бы сейчас не на Кипре гребаном копейки сшибал, а жил бы здесь и в полном шоколаде... Эх, батя, какой у меня проект начинался! Выше только звезды, понял, круче только яйца... Короче, я до неба дом строил, понял? И все накрылось, а почему?

— Потому что нельзя выстроить дом до неба, — автоматически ответил Кузнецов. — Давным-давно пробовали, не получилось...

— Вот, — нелогично обрадовался Иван Эдуардович, — видишь, нельзя. Ты сразу сечешь, а мне тогда кто-нибудь сказал? Потому что таджики были, азеры были, молдавы были, хохлы были, только вас не было... А сам-то ты где живешь, в Штатах или в Израилевке?

— Да нигде я не живу! — отчаянно выкрикнул Кузнецов и испуганно оглянулся.

Но и на этот раз ни люди в очереди, ни девушки в военной форме и туфлях на очень высоких каблуках, переходящие по своим секретным делам от одной стеклянной кабинки к другой, на крик не обратили никакого внимания.

— Странствую я, — еле слышно закончил Кузнецов.

— Ну, тогда с прибытием на родину, — сказал Иван. — Сейчас паспортный контроль пройдем и выпьем по этому поводу. Хорэ болтаться-то, вечный странник.

Нет на свете ничего вечного, подумал Кузнецов, и не вечна моя судьба. Кончается путь, пора. Да, кончается путь, ты дома, убог и холоден дом, вражда и зависть разделяют населяющих его, но это дом твой, и домашние твои, и сюда приводит дорога, в какую бы сторону она ни вела.

И Агасфер пошел выпивать.

КРАСНАЯ И СЕРЫЙ

Удивительные бывают страны.

Вот, допустим, рано утром под вяловатым теплым дождем въедешь в такое государство. Не то пограничник, не то полицейский в аккуратной форменной одежде глянет без интереса, из чистой вежливости, в твой паспорт, прочитает неправильно, как поймет, варварское имя восточного гостя, а документы на транспортное средство и вовсе не спросит, улыбнется губами — и езжай себе дальше куда глаза глядят, по одинаковым гладким дорогам, по ровному, без заплат, асфальту красивого цвета маренго, только поглядывай на перекинутые поперек шоссе арки, на которых бледным светом мигают пунктирные буквы указателей. К примеру, Капустенбург — направо через 1,5 км, Брайтвюрст — через 2,6 и налево под эстакаду, а до Эшелона-сюр-Мер ровно 83 километра. В этот-то Эшелон тебе и надо, поскольку там опять будет граница, и уже другая страна, и в другой форме, в клеенчатой черной накидке и картузе-кастрюльке, другой вежливый дяденька, а дороги такие же ровные, автомобильного цвета «мокрый асфальт»,

и домики такие же, в косых дубовых балках по белым оштукатуренным стенам, и поля в ту же рыже-зеленую некрупную клетку, и чисто вымытые леса. Дождик деликатно сыплет мелко калиброванные капли, низкие желтые сараи бездымной индустрии возникают вдали и уносятся назад, так что едва успеваешь сложить яркие буквы над плоской крышей в название знакомого импортного продукта, одинокая фура обгоняет твой арендованный «фиат», сверкая полированными алюминиевыми боками, и улетает к горизонту, волоча за собой ветер... И примерно через два с половиною часа езды пересекаешь ты и это государство, минуешь его язык, национальную кухню, древнюю и богатую культуру, героическую кровавую историю, мощную экономику, развитую на базе продуктивного сельского хозяйства и современных технологий, взвешенную мировую политику и прочую херню.

Тесно, скучно, душно! Как вы, господа, живете тут, в этой тоске?

Только и остается — ближе к концу дня пришвартоваться к какому-нибудь придорожному отельчику типа шале, запереться в микроскопическом номере под крышей (но все удобства, блин, все удобства, и шампунь в пузырьке!), раздеться до прилипших в сидячей дорожке трусов, вытащить из сумки заветную, купленную еще в круглосуточном напротив дома, налить до кромки взятый в ванной толстый стакан и, сидя на краю свежайшей простыни...

Тоска.

А бывало, ох, бывало!..

Вздрагивал всем тяжелым телом на широкой колее пассажирский пыльный поезд, мелко дребезжала ложка в стакане, а стакан — в подстаканнике, певец Бунчиков в коридорном радио пел тонким душевным голосом про вагонное окно, а за окном — ржавое железо лежало, жидкая грязь проселка текла в бескрайние колхозные поля, готовившиеся уйти под снег вместе со всеми своими 13 центнерами с га, серая дощатая крыша сползала с близко стоявшей к железнодорожному полотну служебной избы, бурый дым крупнейшей в мире черной металлургии поднимался в мирное небо... Грохотала, съезжая вбок, дверь купе, проводница в байковых шароварах и тугом кителе молча подсеяла попутчиков — и пошло, пошло под скользкую котлету и помидор, посоленный из спичечного коробка! Проснешься потом на рассвете в муках, взглядишься, с трудом опираясь на локоть, в пейзаж за стеклом — а там все та же Родина, и железо то же, и дым, и поля, и жидкий проселок, будто и не проехал поезд за ночь шестисот километров, но, наоборот, простоял, притаившись, на запасном пути. Соседи спят в носках, проводница собирает стаканы для утреннего чая, везде царит знакомый до последнего слова язык, впереди еще трое суток пути, и никаких границ не будет, одна страна кругом, а там, где кончается она, кончается и жизнь.

Ах, великая была держава! Третий, блин, Рим. А теперь...

Но ничего, еще развернемся, еще все увидят, дайте только время, на что способны мы, с раскосыми, как верно сказал поэт, и жадными очами, еще поднимемся, и задрожит все вокруг!. А мы станем любить друг друга человеческой и братской любовью, сочувствовать и помогать один другому... Пока же нужно терпеть и все прощать, все прощать и всем, поскольку обстоятельства у нас тяжелые, вот в чем дело.

Взять хотя бы Людмилу.

Родилась она как раз в семье путевого рабочего, занимавшей вышеупомянутый казенный дом, построенный из старых шпал и негодных досок в полосе отвода. В доме пахло креозотом, которым когда-то были пропитаны старые шпалы от гниения, а во дворе, куда Людмила на еще не выправившихся детских ногах выходила, чтобы играть с собакой Жулькой, креозотом пахло еще сильнее от новых шпал Юго-Восточной железной дороги. Эта важная с точки зрения как грузовых, так и пассажирских перевозок магистраль лежала буквально в трех метрах от окружающего двор забора из списанных снегозащитных щитов, так что отцу Людмилы недалеко было ходить до места работы.

Когда Людмиле было всего три года, произошло большое несчастье: мамаша ее скончалась от прободного аппендицита в узловой больнице. Таким образом, в доме из шпал остались жить Иван Федорович Остре-

цов, рабочий пути, и трое его дочек — семнадцати, шести и трех, как уже было сказано, лет. Взрослая, Галина, выдержала все заботы о семье только год после этого, а потом познакомилась на станции, куда было ходу вдоль путей всего полтора часа, с одним сержантом, возвращавшимся по дембелю из Казахстана в родной Кировоград, да и уехала с ним. Как уж сержант протащил ее в полный таких же дембелей вагон, неизвестно, хотя, конечно, отличник боевой и политической подготовки и специалист первого класса (о чем свидетельствовали соответствующие значки) с любой проблемой должен был справиться — и справился. С дороги послали телеграмму Ивану Федоровичу на адрес дистанции пути, после чего, скажем, забегая вперед, Галя не давала о себе знать пять лет, а потом пришло письмо с фотографией. На фотографии была она сама с маленьким ребенком в ползунках и белой шапочке, а в письме сообщалось, что работает Галина нянечкой в деткомбинате сад-ясли, там же при ней и сын Олег, живут они в отдельной комнате семейного общежития и нуждаются только в тридцати рублях на кое-какие вещи к зиме, а больше ни в чем. О бывшем сержанте в письме не содержалось ни слова, обратный адрес был город Никополь, почтамт, до востребования Острецовой Г.И. Иван Федорович деньги выслал с первой же полочки, но ответа не получил, да и вообще больше никаких известий от старшей дочери не имел вплоть до своей смерти от двухстороннего воспаления легких.

К тому времени, как ушел из жизни пожилой железнодорожник, среднюю, Валечку, уже давно сдали в специнтернат, поскольку с возрастом ей становилось все хуже. Лет до тринадцати она только улыбалась, а особенно радовалась и гукала, увидев знакомое лицо отца, менявшего после возвращения с работы пеленку и садившегося кормить ее. Но постепенно сделалась Валечка злая, отцову руку норовила укусить, а в младшую сестру, когда та нечаянно подходила близко к кровати, плевала длинной тягучей слюной и, не попав, рычала и рвала редкие желтые волосы на своей небольшой, с совершенно плоским затылком голове. Так что пришлось ее сдать, что поделаешь.

А у Людмилы жизнь сложилась неплохо.

То есть сначала все шло обычно. Побывала она в круглосуточном садике, имевшемся как раз на той станции, откуда сорвал в неведомую участь Галю Острцову веселый кировоградец, потом закончила среднюю школу на станции же. Десять лет ходила туда и обратно, сначала прыгая со шпалы на шпалу, а потом, когда подросла, укорачивая шаг, чтобы попадать на них, а не в промежутки, и уставала за три часа ежедневной дороги сильно, это правда. А однажды, уже в восьмом классе, размечтавшись, чуть не попала под скорый барнаульский, еле успела отпрыгнуть и долго стояла, глядя на бешеные колеса и чувствуя огненный металлический ветер...

Но наконец отгуляла Людмила выпускной и вышла в белом платье и белых же туф-

лях — постарался Иван Федорович как раз перед больницей, всей премии еле хватило — утром на станционный перрон, чтобы в честь праздника встретить и проводить фирменный Саратов—Москва. Перрон был чист и пуст, никто со станции в Москву тем утром не ехал, только топтались нарядные выпускницы и старавшиеся выглядеть пьяными выпускники. «Смотрите, девчонки, — сказала Людмила подругам, поскольку друзья ничего не слушали, раскупоривая бутылку ростовского вермута, — смотрите сюда: вот я здесь даю вам слово и могу спорить на американку, что скоро я уеду этим поездом в Москву и буду там жить. Понятно? Кто не верит, давайте спорить». Но никто с нею спорить не стал, и правильно.

Иван Федорович Острецов именно в то же утро и умер в больнице, потому что пневмония была страшно запущенная. Людмила заперла дом, собаку Жульку — не ту, конечно, а уже третью — отдала знакомому водителю из участка погрузочно-разгрузочных работ, который на своем бортовом шестьдесят шестом «газе» и довез Людку, с сумкой и чемоданом, до самого перрона, а там, на оставшиеся от похорон отца профкомовские деньги, купила она плацкарту до Москвы, потому что общих в фирменном поезде не бывает, и, едва войдя в вагон, сразу устроилась на верхней без постели лицом к стене. Тепловоз, как положено локомотиву фирменного, мягко взял с места, разогнался понемногу, и через минуту промелькнул мимо окна дом Острецовых, опустев-

ший навсегда и впоследствии сгоревший от случайной искры дотла, до хрупких серых коленчатых головешек, вот и все. И где уж теперь живут путевые рабочие с семьями, никому не известно.

Ах, боже мой, боже мой! Вот ведь какое дело — судьба. Ну, три сестры, ну, в Москву, в Москву, а получается-то вон как... Одна в специнтернате гниет, другая по все еще необъятной, хотя и не такой, как прежде, стране ищет пропитания и угла с пацаном на руках, а третья-то и вправду... А вообще — при чем здесь сестры, Москва? То, что они сестры, да и Москва — это ничего не значит, у нас история совершенно другая. Тяжелая, скажем вам откровенно, история. Дыхание перехватывает, сердце сбивает, грудь, как когда-то писали, теснит, рука тянется понятно куда. Буль-буль-буль в гигиенический стакан, за окном природа словно макет, в коридоре веселые аборигены хохочут, в номере телевизор ихние игры показывает, еще дурнее наших, и некуда деваться из сей юдоли слез, где либо тоска, либо кошмар.

Что же касается Людмилы... В общем, так: живет она теперь действительно в Москве, вот. Можете себе представить? Снимает однокомнатную в Братееве, а это, согласитесь, совсем неплохо. Мало того, сейчас вы вообще упадете — она ведь старшую, Галю, разыскала каким-то необъяснимым образом и в Москву перетащила! А? То-то же.

Вон выходит Людмила Острцова прохладным утром на смену, вон идет к метро

мимо ларьков и бомжей, мимо приезжих и местных, мимо ручной торговли и милиции, и все у нее в порядке — и регистрация, и работа, и даже у сестры с сыном регистрации есть, так что Галина спокойно остается днем в их однокомнатной и успешно трудится надомным телефонным диспетчером в приличной транспортной фирме, а Олежка спокойно ходит в девятый класс, не курит, пива даже не пробовал, не говоря уж о всякой дряни, и вообще с москвичами не водится, только качается в спортзале и мечтает о школе милиции, что вполне реально, учитывая теткинны связи.

Связи же у Людочки образовались за три года серьезные, позавидовать можно. Например, капитан Нерушимов Аркадий из отдела по охране метрополитена, или Профосов Николай Петрович из ЧОП «Три богатыря М». Да и как не быть связям, если работает Люда Острцова дежурным по станции метро «Площадь Революции», в таком центре столицы, что центрее не бывает, и обращаются к ней, если какая необходимость, не то что менты, а и посерьезнее люди почти каждый день. Тем более, что она очень интересная девушка и красную пилотку носит поверх высокой прически светлых волос.

Итак, работает Людмила Ивановна в метрополитене. Вполне может быть, что повлияла на это лженаука генетика, давным-давно, еще при старой власти, полностью реабилитированная, в результате чего ее поминают к случаю и не к случаю в самом

пустом разговоре. Ведь метро, согласитесь, есть не что иное, как зарытая в землю железная дорога, и происхождение Л.И. Острецовой от работника МПС должно было сыграть свою роль в дальнейшем выборе ею профессии. Вот и приняли ее без больших трудностей, хотя иногородняя, на соответствующие курсы, выучили на них встречать и отправлять по графику (соблюдающемуся, впрочем, автоматическими машинами) подземные электрички, принимать экстренные меры в особых случаях (которых, слава богу, пока на ее дежурства не выпадало), а в сущности, просто стоять на мраморном перроне среди бронзовых матросов с сильно потертыми револьверами и шахтеров с отбойными молотками, среди живых толкающихся пассажиров с клетчатými большими сумками торгового назначения, маленькими рюкзаками модного фасона и грузовыми тележками дачно-пенсионного типа. И вот она стоит в сером мундире, прилегающем к очевидной фигуре, в укороченной выше полных колен серой юбке, из-под которой выступают выпуклые ноги в хороших туфлях на высоком каблуке, а поверх всего этого, на пышных, золотых, как говорится, волосах двумя шпильками-невидимками закреплена положенная ей по должности красная пилотка.

О чем может думать такая девушка в течение однообразной и длинной смены? Разные девушки думают о разном. По собственному опыту автор знает, что невозможно проникнуть в мысли других людей, особен-

но противоположного пола. Уж сколько раз пробовал — увы... Но в мысли Людмилы Острецовой мы, в качестве исключения, проникаем без всякого труда, потому что Людмилу-то мы ведь выдумали всю, с ног до головы, и, следовательно, все, что в этой голове происходит, есть продукт нашей фантазии и, значит, нам досконально известно.

Думает наша героиня о будущем. Она о нем постоянно думает в определенном, конкретном смысле, о котором скажем позднее. Некоторые ее знакомые и подруги тоже думают о будущем, но в примитивном смысле приобретения — когда наконец выдадут очередную зарплату — на вещевых рынках модных предметов типа расклешенных брюк с низкой талией или трусиков «танго», выступающих сзади над этими брюками, как теперь носят. Могут также думать о посещении клуба-дискотеки или концерта любимого певца, такого хорошенького, как кукла. В конце концов, не исключены мысли просто о ближайшем вечере в сугубо девичьем кругу, с приличным количеством пива и быстро варящимися в кипятке кирпичами смерзшихся креветок... Но Людмила о такой ерунде думать, конечно, не станет. Модные брюки и тем более трусы как у проституток она не признает за красоту, причем не из-за особенностей личной фигуры, а из принципа. По дискотекам не ходит, там только наркоту толкают, дергаются, как припадочные, и пидорасов полно, которых она за людей не считает. Любимого певца лучше всего смотреть дома, по собственно-

му — хозяйка квартиру сдала только с холодильником — телевизору, в компании сестры Гальки и племянника Олежки, с ними все спокойно обсудить можно: и семейные трудности певца, и его новый имидж, то есть костюмчик и начес. К слову: сестра Галя тоже постоянно думает о будущем, но только об одном — как сын выучится в школе милиции, отмотавшись таким образом от армии, попадет на службу в ГИБДД, начнет приносить хорошие деньги, женится на серьезной девушке, лучше тоже из приезжих, из хохлушек, они аккуратные, получит комнату или даже квартиру, родит детей, и Галина будет сидеть с внуками, как положено. Ей, конечно, дети сильно надоели за годы работы в яслях и садиках, но это ж свои будут...

Да. А что до пива и креветок, то Люда предпочитает сто пятьдесят хорошего, молдавского, коньяку и шашлык из мягкой свинины. Если у них с Аркадием смены совпадают, а это, как минимум, случается раз в десять дней, они так и делают. Давно уже выбрали кафе, расположенное близко от места службы и укромно — в одном дворе на улице Никольской (б. «25 лет Октября», это ж надо!), летом там столики выставляют прямо во двор, а когда наступает холодный сезон, сидят все в приспособленном для современного использования небольшом помещении некогда черного хода. Накурено, конечно, сильно, но капитан из-за нервной работы и сам непрерывно тянет хорошие сигареты Parliament, балует себя, тем более

что ему их бесплатно раз в неделю друзья-бизнесмены по блоку дарят, а Людочка тоже может не взятяжку одну испортить, особенно после рюмки. Иногда, не слишком часто, к паре — ну что тут мяться, не дети, было у Острецовой с Нерушимовым, и сейчас бывает, стесняться особенно нечего, она женщина свободная, и он одинокий, разведенный без алиментов, — значит, иногда к паре присоединяются Коля Профосов, он, конечно, семейный, но может себе позволить хотя бы раз в месяц посидеть с друзьями, и приятель Николая, сослуживец его по частному охранному предприятию Капец Игорь Алексеевич, подполковник, ВДВ, Герат, Ачхой-Мартан, Центральный госпиталь имени Бурденко, «За службу Отечеству второй степени» как раз в комплект к инвалидности второй группы по проникающему в легкое, так что он в «Трех богатырях» исключительно на видеонаблюдении, и то взяли по старой дружбе с президентом фирмы, тоже из десантуры.

И так сидят они хорошей компанией с единственной представительницей прекрасных дам, за которых, конечно, подняли уже тост, добивают, понятно, вторую кристалловской «Гжелки» под бочковую «Балтику» седьмой номер, а Люда пьет на десерт после коньячка и мяса кофе-капуччино, к которому приобрела за столичные годы слабость, и делится с друзьями своей заботой о будущем, которую прежде держала при себе, даже Нерушимова не посвящала — койка койкой, а жизнь у каждого своя.

Но вот теперь почему-то почувствовала она, что пришло время... Рассказ ее длинный, поэтому прежде, чем представить вам, нетерпеливый читатель, его дословную запись, автор позволит себе некоторое отступление, отчасти противоречащее многому, сказанному выше.

Если помните, начали мы с рассуждений о разнице между их мещанским счастьем и нашей неистребимой духовностью. Так вот, вдруг, когда сочинение это уже перевалило по крайней мере за треть, подумалось: а не свалить ли отсюда к такой-то матери?! Честное слово, сил больше нет. Конечно, рынок, все в продаже, только деньги давай. И свобода — не нравится что, так маршируй по улице с плакатами и ори сколько хочешь, если санкционирован. Поди плохо... Как говорится, все, о чем мы мечтали, но боялись мечтать. О-хо-хо... Но как глянешь вокруг! Двор грязный, собаки ходят с безнадежными глазами, асфальт в дырах, мусор, перед бутиком насрано... Да по радио блатняк, да один депутат за вечер в кабаке оставляет больше, чем зарплата всей фракции, да вообще блядство и беспредел! И идите вы в жопу с вашей духовностью, и подайте мне ту промытую до скрипа тоску и скучный порядок, хочу лицемерных улыбок и очереди на усыновление чужих дефективных детей, хочу чистоты и старательности, мелочности и индивидуализма, надо-ело!!!

Ну, ладно, это так, истерика.

Чепуха.

Зол человек — вот это действительно беда. Жаден, ревнив, хотя не любит никого, если поглубже разобраться. Пуст и тщеславен, горделив и пуст. И некуда ехать, и везде люди, только мы по-ихнему не понимаем, вот и обольщаемся.

Жил, беспутничал, радовался мерзости своей, и планы еще большего безобразия строил, и бежал за приятным, под ноги не глядя, а тут — раз, и споткнулся. Господин! Товарищ! Мужчина! Это не вы обронили? Нет-нет, знаю я эту вашу игру, сейчас пачку долларов, резинкой перетянутую, делить станете и последнее отберете, мошенники проклятые. Ну, что вы, господин, нельзя так не доверять людям. Это ведь ваша жизнь? Ваша, ваша, вот первый развод, вот и второй, вот кандидатский стаж, а вот прекрасный августовский рассвет у «Белого дома»... Видите, ваша. Потеряли. И не благодарите — это вы сами споткнулись, потому и заметили. А споткнулись об старость, вот же она, одиночеством вверх торчит. Пойдите, отдышитесь, жизнь получше спрячьте за пазуху, чтобы снова не обронить. Беречь жизнь надо, теперь уж все, ни глотка, вы свою цистерну — сами знаете... Ну, счастливо.

И остаешься с нею наедине, с жизнью. С потерянной. Стоишь посреди пустого места, ноги подгибаются, голова уплывает в последний, может быть, путь, легкий жаркий ветер долетает из бессмысленных молодых лет, и куда теперь идти? Некуда идти, отнесут.

Страшно, страшно, ох, как страшно. Плохо мне, Господи.

Ну, помогите же кто-нибудь! Возьмите за руку, скажите, что не умру весь, что кое-что хорошее останется, растворится, и буду в нем проглядывать хоть неясной тенью, мерцать, и за руку, за руку возьмите!

Нету никого, разошлись по своим делам.

Один.

Ну-с, а теперь рассказ Людмилы Острецовой.

Я с этой бабкой случайно познакомилась той зимой. Она на платформу спустилась из перехода, а поезд как раз только ушел, пусто, двенадцатый час, вечер будний, народ весь проехал уже. Ну, она стоит, в такой шубе — вообще! Старая по фасону, как из кино, но каракуль, мальчики, классный, я сразу обратила внимание. И длина — в пол, представляете? А сама шатается. Я думала, плохо ей, надо, может, фельдшерку звать, а то навернется затылком на мрамор, будет шороху. Подошла, смотрю, а она в умат, пахнет не сильно, видно, дорогое пила, но глаза в разные стороны, и сама прямо падает. Я даже не знаю, что со мной сделалось, жалко ее стало, что ли, или что... Короче, отвела ее в служебку, хотя, ты ж, Аркаша, знаешь, категорически запрещено, посадила там, а она со стула валится. В общем, до конца смены она там проспала, хорошо, не зашел никто, а сменщице я наврала, что знакомая. Ну, сменилась и вытащила ее наверх, на лестнице снизу подпирала. Тут она вроде прочухалась. И говорит мне так спокойно, как

будто я ей подчиненная, — возьмите, милая, такси, едем домой, на Котельническую, а потом можете идти, вы мне до утра не понадобятся. Это я потом просекла, что она меня за свою домработницу посчитала, или кто там у нее раньше был. Ладно, тормознула я одного частника, договорились, она чего-то шебуршит там сзади — тут направо, тут налево, теперь во двор, вот подъезд, благодарю вас... И тянет оттуда, сзади, водиле стоху, ничего? А там езды самое большое на полтинник, до этой высотки. Ну, считай, прямо напротив Кремля, поняли, знаете? Там еще церква большая под мостом... Ага. Ну, вылезла она, еле носом в асфальт не врубилась, я успела ухватить. И пошли мы к ней домой, как будто она меня сто лет знает, а что я ее, допустим, в ванной запру и все из квартиры вынесу, даже не думает.

Ладно. Два месяца прошло — мы уже с ней подруги не разлей вода. Прихожу я к ней со смены или в свой выходной, несу бутылку, она исключительно белую самую лучшую пьет, ну, эту, «Стандарт», и всегда денег мне заранее дает на продукты. Вытащит из кошелька, не считая, мятые и спрашивает — Люсенька, это она меня так называет, здесь хватит? А там рублей семьсот, а когда и больше. Я ей говорю — Анна Семеновна, куда столько? А она говорит — как же, ведь теперь все так дорого! А сама и не знает толком, почем что, я ей сначала чеки приносила, так она меня стыдила и выкидывала их, не глядя. Ей деньги как бумага, она пенсию по полгода получать не ходит. Муж у ней

был какой-то большой начальник, может, академик или министр, факт, что Герой Советского Союза и знаменитый человек, даже теперь по телевизору читают вслух, что он написал. Тридцать лет или больше, как помер, а оставил ей всего — за два века не прожить. И шубы, и бриллиантов этих в золоте полная коробка, она ее в тайном месте за книгами держит... А книг — сплошь по всем стенам, во всех четырех комнатах и даже в коридорах, ужас! Она перед сном берется читать, а сама уже никакая, почитает, пока я посуду мою и на кухне прибираюсь, захожу, а она уже спит, сопит так, как будто помрет сейчас, а книжка рядом с диваном на полу лежит, и там этих книжек целая гора, она мне их поднимать не разрешает. Однажды я одну взяла посмотреть, а там чего-то на иностранном языке, только не на немецком, а немецкий в школе учила...

Ну, вот. Значит, приношу я телячьей колбаски, батон свежий, помидорчиков с огурцами нарежу, она мне велит их зимой брать в супермаркете, сидим, выпиваем-закусываем. И всю свою жизнь она мне рассказывает. Фамилие у ней Балконская, это по академику, а девичье простое, некрасивое — Свиньина. Родители у ней учителя были по музыке, но, говорит, тоже жили неплохо. А сын ее Тимофей работал режиссером или актером, я не поняла, но по фотографии узнала, его раньше часто по телевизору показывали, а теперь он живет за границей и оттуда ей баксы присылает, но она про него не любит говорить. А про всех любовников своих расска-

зывает, она женщина, конечно, была красивая, это действительно. И сейчас издали, если морщин не видно, прямо как Валерия, и тоненькая. Выпьет, а закусывает только огурчиком или сыром, а хлеба вообще никогда не ест. Один мужик, рассказывала, к ней ходил, а потом пришел как-то уже после смерти академика, а его прямо в ее квартире током убило, представляете? Она говорит — это ему мертвый муж отомстил, забрал к себе в преисподнюю. Ну, уже пьяная, конечно...

В общем, короче, я к ней хожу всю зиму, а весной она собирается на свою дачу. Вот, мальчики, как живет старуха. Квартира — четыре комнаты, паркет, центр, вся обстановка хоть и старая, но хорошая еще. И дача по Минскому шоссе, где раньше только таким, как ее покойник, участки давали, а сейчас самые крутые строятся, там кругом красота, все из кирпича, в три этажа, и заборы такие — дороже целого дома стоят... Но у нее дача, конечно, старая, деревянная, наверху только одна комната, и снаружи некрасивая. Зато участок сорок соток! И все в доме есть, и ванна, и даже телефон прямо городской. Она рассказывала, сколько ей предлагали, чтобы продать, так я даже не верила, а потом узнала — правда... Ну, заказала я машину из агентства, перевезла ее туда и стала к ней ездить по выходным. А сегодня она мне звонит утром, говорит, заболела, голова кружится и вообще плохо чувствует. Я ей говорю — Анна Семеновна, погрейте молока и ложитесь, это вас протянуло где-то, вы одеваетесь легко и всегда на веранде

садитесь в кресло, а там тянет, вы ложитесь, а я завтра рано приеду, я завтра как раз свободная в отгуле...

Нет, не хватает терпения записывать слово за словом рассказ Людмилы Острецовой. Вроде ничего ужасного она пока и не рассказывает, а какой-то гнилой горечью веет от всего, что она говорит, страшная какая-то морда высовывается вдруг откуда-то, отчаяние подползает. Знаем мы, чем все кончится, нам бы порадоваться за Люду, а нету радости, понимаешь, Люда?

Жизнь-то твоя устроится окончательно, завещание Балконской Анны Семеновны уже заверено работниками нотариата честь по чести, так что рано или, лучше, поздно, дай Бог Анне Семеновне еще долгих спокойных лет, отойдет гражданке Острецовой Л.И. и жилплощадь в Котельниках, и домостроение с прилегающим участком земли в поселке Переделкино, и все прочее имущество, включая жестяную коробку от импортного печенья, спрятанную до поры за собранием сочинений... впрочем, никого не касается, где она спрятана, а сын завещательницы, Болконский Тимофей Устинович (он почему-то свою фамилию через два «о» пишет), ни на что претендовать не будет из своего зарубежного далека, его вообще признают безвестно отсутствующим, так что вступишь через положенное время ты, Людмила Ивановна, в свои права...

Но душа! Душа твоя, вот что нас заботит. Ворочается она, душа-то, подкатывает изнутри, как обострившийся гастрит?

То-то и оно.

Людмила пошла от электрички короткой дорожкой. Сначала, конечно, мимо кладбища, потом к прудам и напрямик через рощу. Тихий воздух теплого и пасмурного июньского дня вдыхался с некоторым трудом, запахи окружающих растений и влажной подножной почвы делали его слишком густым для вдыхания. В пространстве чувствовалась совершеннейшая пустота, даже с прудов не доносились голоса отдыхающих, поскольку день был совершенно будний, и народ занимался трудом в других местах, в городском смраде и беспокойстве. Из живых существ только бестолковая бабочка металась белыми зигзагами над небольшой поляной да мелкие беспризорные лягушата прыгали, словно в мультике, по берегам быстро иссыхающей лужи. Еле слышный звон распространялся между деревьями, откуда бывает такой звон в редком и пустом лесу, неизвестно, но многие его слышали.

И тут на узкой и сырой тропинке, по которой шла, задумавшись, Люда, появился неизвестный мужчина.

Одет он был в спортивный костюм серого цвета, лицо у него было продолговатое, глаза голубые, нос прямой, волосы светлые, короткие. А что голубые глаза были близко поставлены к переносице, и что нос был к концу толще, и этот конец все время вздрагивал, будто мужчина принюхивался к чему-то, и что уши у него были больше обычно встречавшихся Людмилой мужских ушей, а зубы длинные, и их было видно, по-

тому что мужчина все время улыбался, и что шей он при этом не ворочал, будто застыдил ее, — этого лейтенант с Людмилиных слов записывать не стал, потому что в словесный портрет такого не пишут, не положено. Эх, милиция! Не дал, как обычно, введенный по горячим следам план «Перехват» результатов. И никогда не даст.

— Куда идешь, сестренка? — спросил мужчина и показал зубы. — Проводить? Или так пойдем, погуляем?

Никогда в жизни не стала бы Людмила Острцова разговаривать с неизвестными мужчинами неизвестно где, но тут она про свою гордость забыла. Кругом был лес, человеческие голоса не доносились ниоткуда, она вспомнила, как по телевизору объясняли, что с маньяками надо разговаривать, глядя им в глаза, чтобы смутить и отвлечь от дурных мыслей, — и вступила в беседу. Она рассказала, что идет к больной старушке, даже назвала Анну Семеновну бабулей, показала, что имеются в ее небольшой, но вместительной сумке поддельной фирмы Рипа продукты, включая испеченные сестрой Галей пирожки и бутылочку, как она, осторожно засмеявшись, выразилась, «от сосудов»... И вдруг, сама не заметив, произнесла, как последняя дура, адрес, по которому идет.

Не успели еще раствориться в теплом и влажном воздухе заветные слова «Публицистический проезд, одиннадцать», как мужчина исчез. Вот только что стоял здесь, скалился, комплименты делал — мол, так бы

и съел тебя, сестренка, настолько ты аппетитная дама, — и сгинул. Только кусты зашуршали, да нагнулась и выпрямилась, дрожа мелкими листьями, молодая березка, да мелькнула поперек просеки вдали серая тень, вот и все.

А Людмила тут же очнулась и снова стала самой собой — толковой и решительной девушкой, сумевшей без всякой помощи и поддержки дойти от шпального дома на Юго-Восточной железной дороге до столицы страны и здесь порядочно обустроиться. Поэтому прежде всего она достала из особого кармана поддельной, но практичной сумки небольшой телефон мобильной (и, признаемся, до сих пор для нас неопостижимой) связи, набрала номер друга Аркадия и все ему сообщила коротко, поскольку деньги щелкают, но подробно. Аркадий Нерушимов, опытный капитан милиции, выслушал внимательно, не перебивая, выслушав же, приказал идти спокойно, куда шла, а телефон больше не занимать и ни в коем случае не выключать. Люда и пошла...

Ну, что, давно догадались? Правильно. Дальше все будет именно так, как вы думаете.

На веранде дома одиннадцать по довольно глухому даже для дачного места Публицистическому проезду стояла желтоватая тьма, поскольку все занавески из плотного сурового полотна были задернуты. Людмила Острцова пригляделась, привыкла к темноте и обнаружила, что Анна Семеновна встречает ее, сидя на своем люби-

мом месте, в старом и слегка покосившемся, а оттого и плохо качающемся кресле-качалке, из-за простуды накрывшись до самого подбородка большим клетчатым теплым платком и натянув на голову древнюю конькобежную шапочку с мыском на лбу. Однако тут же Люда поняла свою роковую, как говорят про такие ошибки, ошибку: бабка дико, с хрипом захохотала, поглядела на несчастную гноящимися, близко поставленными к переносице голубыми глазками, пошевелила концом мощного носа и вскочила из кресла, оказавшись, естественно, уже знакомым нам неизвестным мужчиной.

— Ну, чего смотришь? — спросил мужчина грубо. — Зубы мои не нравятся или уши слишком большие? Ничего, уши откидываются!

И он снова захохотал, и хриплый рык пронесся над старинным дачным поселком.

Впрочем, к слову сказать, этот поселок и не такое слышал.

— Ах, что вы на себя наговариваете... — кокетливо смугилась Людмила, желая на самом деле, конечно, просто выиграть время. — Уши как уши...

— Не гони, — не поверил мужчина. — Сама знаешь, чьи это уши. Бутылку лучше давай.

— А где бабуля? — Люда никак не могла поверить, что Анна Семеновна находится, как положено, уже в животе мужчины, даже при всей своей изящности пожилая женщина поместиться там никак не могла.

— Где? В Караганде, — мерзко отвечал зверюга, повернулся всем телом и, отодвинув кресло, открыл страшную, как и следовало ожидать, картину.

Анна Семеновна Балконская сидела за креслом на полу, связанная по худым рукам и тонким, как у всех пьющих женщин, ногам липкой лентой-скотчем. Рот ее был заклеен этой же лентой, а глаза закрыты, поскольку сознание она, понятное дело, уже давно потеряла. Да и кто бы на ее месте не потерял?

Тем временем негодяй вырвал из рук Людмилы ее полную гостинцев сумку, вытащил и сожрал вкуснейший, испеченный домовитой Галей пирожок, вытащил бутылку и, свернув ей голову, стал оглядываться в поисках какого-нибудь стакана, поскольку дорогая водка из дозатора прямо в пасть не льется.

— Я вам сейчас фужер дам, — сказала умная и находчивая Людмила.

С этими словами она пошла в гостиную, погромела там посудой в серванте и быстро вылезла в окно.

Вылезши, девушка обежала дачу вокруг, приперла какой-то случайной доской дверь на веранду, чтобы преступник не ушел, а тут и ребята подъехали. За рулем своего автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» находился сам капитан Нерушимов, рядом с ним сидел Коля Профосов с положенной ему по охранной работе профессиональной дубинкой, а сзади нетерпеливо ворочался бывший десантник Игорь Алексеевич Капец с личным

тульским помповиком, он из-за своей инвалидности вообще стал суровый и несдержанный до беспредела. В камуфляжах все, как положено военным и охотникам.

В общем, разобрались они с серым.

Посмотрели потом документы — надо же, и фамилия русская, Волков, не из черных, а такой зверь. Завернули в тот же клетчатый платок, загрузили, а на свалке кинули, там свалка недалеко, нашли место, где мусор и без того тлел, ну, еще и бензинчику плеснули...

Потом бутылку, привезенную Людмилой, распили — и по домам. Люда же осталась старушку утешать, и пришлось ей через час еще в ларек бежать, а то обе никак успокоиться не могли. На следующее утро пошли вдвоем в милицию, где, по совету опытного Нерушимова, заявили об имевшей место накануне попытке грабежа дачи. Лейтенант записал приметы грабителя, но про уши и шевелящийся нос записывать, как мы уже отмечали, не стал. А какой смысл записывать, если все равно этого бомжилу хрен найдешь? Вон на свалке обгорелая волчья шкура обнаружилась, а в шкуре — человеческие останки с огнестрельными ранениями. И что, тоже дело заводить?

Вот, собственно, и вся сказка. Болит душа, Люда? Болит, что ж поделаешь. Жалко мужика-то, хоть он и волчара был? Жалко. Простила ты ему все давно, потому что и про себя знаешь такое, что лучше бы не знать.

Но в сказках никого не прощают. В них добро, как сказал поэт же, непременно с ку-

лаками, да с такими, что никакому злу и не снились. Сказки — они все жестокие.

Да и жизнь пока не лучше.

Стоит Людмила Острцова на платформе станции Московского метрополитена «Площадь Революции», красная пилотка ей очень к лицу. В квартиру свою она еще не переезжает, чтобы Анну Семеновну не тревожить пока, а на дачу уже покупателя нашла, потому что за такие деньги где-нибудь по Ярославке можно настоящий коттедж отгрохать. Капитан Нерушимов майора получил, скоро они с Людой сменят «Ниву» на приличный «опель»-трехлетку, ребята из ГИБДД обещают помочь. Коля Профосов и Капец Игорь Алексеевич по-прежнему в «Трех богатырях», но и с ними будет произведен честный расчет, когда Люда законно откроет коробку, хранящуюся за собранием сочинений... в общем, неважно кого. Анна Семеновна Балконская все выпивает, и до того осеннего вечера, когда она в последний раз заснет, уронив на пол стихи французского поэта Элюара, еще несколько месяцев осталось. Почему-то всегда похороны в плохую погоду устраивают... Олежка готовится в школу милиции, со всеми, с кем надо, Аркаша Нерушимов уже перетер, проблем у парня не будет, сестра Галя счастлива, хотя никак не поверит, что скоро все будут жить вместе в своей четырехкомнатной.

И никто из них не знает, что в специнтернате под Камышиным сидит на грязных и вонючих, наваленных на кривой кровати тряпках толстая тетка лет тридцати, качает-

ся и рвет желтые волосы на плоском затылке, качается и рвет, рвет и бросает. А когда к ней кто-нибудь подходит близко, то плюет длинной и тягучей слюной, но не попадает.

Да и что толку, если бы знали? Все равно не поняли бы, что это она переживает так за всех. Жалеет всех, и переживает, и расстраивается, а никто не понимает, вот она волосы и рвет, и плюется.

Тут, от некоторых собственных мыслей, впору и самому волосы рвать, рвать и плевать. А приходится терпеть.

ВОСХОДЯЩИЙ

ПОТОК

Человечество вообще дурью мается.

Что стреляют, рвут на куски, головы отрезают и ими в футбол гоняют — ладно. Война. За священное дело независимости, за веру верную, за трубу мазутную, за любимого президента-вождя-эмира, выродка и мразь, — так всегда было и (стыдно говорить, но ведь правда!) всегда будет. Мерзки дела наши пред Господом, люди мы.

Но вот езда на доске с переворотами вверх ногами, спуск наперегонки со снежной лавиной, парашютный прыжок с малайзийского небоскреба — это зачем? Зачем сломанные позвоночники, раздробленные колени, доживание в овощном разуме, мочеприемники на остаток дней или, в лучшем случае, вывоз тел вертолетами? Адреналин? Так ширяйтесь им под врачебным наблюдением, дешевле будет и последствий меньше! Кстати — и насчет ширева то же самое. Ну, кайф, все понятно. Но почему грязным-то шприцом?!

В общем, ясно, о чем речь. Нет у нас времени разводить философию, особенно, как любили говорить в давнем детстве наши

учителя, глубокую на мелких местах. История простая, расскажу я ее коротко, потому что сил уже немного, экономить пора.

Если вы поедете в северо-западном направлении по одному подмосковному шоссе, делающемуся все более популярным в последнее время, то увидите интересную рекламу. Там перед перекрестком, который вам, вероятно, прекрасно известен, поскольку на нем все время машины бьются, с двух сторон закрытые повороты, а с третьей главная дорога из-за холма идет, так вот, перед этим перекрестком вкопан столб, а к столбу прибит огромный белый лист, а на листе написано черным крупно и криво, как будто великан от руки писал: «Хочешь летать? Парaplаны». И телефон.

Если же, спускаясь с холма главной дороги, вы поднимете глаза к небу, то обнаружите там и картинку, которая, в сочетании с соблазнительной надписью, создаст сильный рекламный эффект.

Там, среди закатных сиреневых прогалин и белых облачных обрывков, умело подсвеченных низким солнцем, будет плыть на невидимой привязи ярко-красный, или оранжевый, или изумрудно-зеленый матрас, простеганный поперек и слегка выгнутый кверху, а под ним, в почти невидимых тросах и креплениях, будет лететь маленький человек, горделивый червяк. Неразменный солнечный золотой пошлет на вашу сетчатку нестерпимые лучи, опустите вы внутренний козырек, заботливо

предусмотренный автомобильным производителем, и, рискуя безопасностью движения, будете смотреть и смотреть в эту пустую высоту, и воображать, что видит оттуда пилот, как летят безо всякой опоры его ноги, немного отставая в упругом воздухе от верхних частей тела, как дрожат напряженные мышцы рук, и как ему там страшно, несмотря на всю его полоумную храбрость. Рожденный ползать, подумаете вы, летать не может, вот навернется оттуда — мало не покажется, безумству храбрых, вспомните вы дальше глупую цитату, поем мы песню, а гагары, подумаете вы уже про самого себя, тоже стонут... И, пропустив движущихся справа, свернете ко въезду в свой коттеджный поселок. Вот блин! Будет конец этой стройке или нам за такие бабки вечно по грязи ездить?!

Ну, а история произошла вот такая.

Бизнес этот затеяли два энергичных пацана, Гоша и Виктор. Оба отслужили в десанте и, вместо того чтобы идти в охрану куда-нибудь или просто в бандюки, пошли к серьезным людям, объяснили им идею и попросили денег под разумный процент и под гарантии — у Гоши был родительский дом по этому же шоссе, дом, конечно, говно, но земли почти тридцать соток, а у Виктора имелась наследственная же двушка в Мневниках. Причем, что интересно, и ту и другую недвижимость буквально к возвращению друзей с действительной старшее поколение оставило им в полную собственность. Гошины батя

с маманей дождались со второй чеченской своего единственного живым да в ту же радостную неделю, перебегая из-за ненужной спешки упомянутую трассу, точно угадали под фуру. А мать Виктора уже давно болела, рак ее начал грызть, как вышла на пенсию из своего району, отца же у Витьки никогда не было, покойница его в одиночку поднимала.

Короче, серьезные люди десантникам поверили, тем более что знали по личному опыту и вообще по людям своего круга тягу современного денежного народа к экстремальному спорту, и дали кредит. А Гоша с Виктором прикупили все необходимое и принялись понемногу обучать тех, кто желал сделаться словно птицы небесные.

Вокруг беда и скудость, труды и тревоги.

Кто пенсию на месяц рассчитывает, кто с утра до ночи в офисе парится, один в роскоши возгордился, а тут его в следственный изолятор приглашают над жизнью задуматься, другой только примерился свою жилплощадь сдать, проживая у подруги, как вдруг гепатит, о котором он прежде и понятия не имел, открылся и требует на лечение столько, сколько ни одна квартира целиком не стоит...

Ты же летишь в небесах.

И приспособился крутиться вокруг запуска один местный мужичок. Дебил не дебил, но с башней у него проблемы были, это точно. Где он жил и чем по жизни занимался, никто не знал, даже имя его не было

известно толком, не то Егор, не то Игорь. Да именем его и не интересовались. Все привыкли, что стоило наступить подходящей погоде, как он появлялся, словно ждал в ближней лесопосадке, крутился вокруг техники, всегда готов был поднести какую-нибудь нужную херовину, поддержать другой конец сматываемого троса или еще что-нибудь подогнать. Так постепенно и прижился, вместе с двумя робкими собаками.

Что же касается Володички Трофимера, то он светский человек. Я даже предполагаю, что просвещенный читатель — а разве бывают другие читатели? — и сам неплохо знаком с Володичкой. Чем он только не занимается! Держит три ресторана, и хороших, надо признать, ресторана. В работе органов законодательной власти активно участвует от лица той молодежи, продвинутой и внутренне свободной, которую справедливо называют золотой. Спонсирует и курирует актуальное искусство в собственной галерее «Голубой период». В зимнее время непременно представляет современную Россию в Альпах, в одной небольшой деревне, в ней, собственно, все представляют современную Россию, и поэтому чашка кофе там стоит от пятнадцати евро. Ну, а в теплый сезон и ясную погоду вот решил подняться в небо. Он, вообще-то, смелый человек, между прочим. Пережил два покушения — в охраняемом подъезде отметили какие-то двое, и под днищем «сааба» было вовремя обнаружено взрывное устройст-

во — Володичка сам заглянул, как будто почувствовал... Так что высоты он совершенно не боится, тем более что в этом сезоне буквально все летают.

В общем, прихватил Володичка для ее развлечения и из собственных понтов известную московскую девушку Олеся Грунт, только что вернувшуюся из долгого зарубежного отсутствия — Антиб, Корсика, Милан, снова Антиб, и приехал. И уже направляется к месту, где его должны укрепить под летательным аппаратом.

На нем широкие брезентовые штаны с крупными боковыми карманами, узкая и короткая майка типа нижней рубахи, пыльные мокасины на босу крепкую ногу. Голова стрижена под ноль, редкая борода вокруг рта растет слабо. Вид так себе, ничего особенного, а что за стрижку и вообще визажисту уплачено полтора часа, за штаны триста условных единиц, за мокасины — пятьсот, а про майку даже нам ничего не известно, поскольку она из новейшей, только что прибывшей в нашу столицу коллекции, — так это ж только понимающие люди могут просечь!

Но понимающих там как раз в то время не оказалось, персонал накануне резко сменился, большие претензии накопились у Гоши с Виктором к прежнему коллективу, и они решительно обновили команду.

И вот идет через большую поляну такой неприметный юноша, и, сидя в распахнутой двери «сааба», смотрит ему вслед задумчиво Олеся, а о чем она задумалась, этого никто никогда не узнает, она девушка

скрытная и следствию не оказала никакой помощи.

Наземный же обновленный персонал между тем уже встречает человека в широких брезентовых штанах с карманами, в узкой, словно он из нее вырос, майке и в какой-то пыльной обуви на босу ногу. Стрижена наголо небольшая голова человека, редкая бороденка с незначительными усами окаймляют незаметный рот. Похож, как две капли воды похож человек на господина Трофимера, известного буквально всем телезрителям! Кто ж разберет, что штаны его стоят шестьсот безусловных рублей на Тушинском рынке, обувь же и майка вовсе ничего не стоят, так как изысканы в мусоре, а стрижка и бородка остались от последней госпитализации... Не видали прежде ребята этого мужика, потому что они сами здесь первый день.

Шагает Володичка по теплой траве, не спешит.

Стриженого человека тем временем уже помещают в крепления и отпускают в атмосферное пространство.

С удовольствием наблюдает Володичка взлет предшественника и плавный его подъем — вот, пожалуйста, взлетел мужик, все в порядке, нечего бояться.

А взлетевший, достигнув недостижимой высоты и отбросив хитрые предосторожности, вынимает припасенный в карманах инструмент по металлу и обрубает трос или что там — все, прощайте, земля и люди! Свободен я в мире!

Тут на месте старта заводят для настроения через хорошие динамики столь приятную теперь всем музыку старых романтических времен, которых никто уже, конечно, не помнит, а потому все любят. Марш гремит под свободными небесами, прекрасный сталинский марш, нота в ноту списанный, говорят, с прекрасного гитлеровского марша, а потому лихой и наглый.

...нам разум дал стальные руки-крылья...

Хотя на самом-то деле крылья не стальные, а чисто синтетические, конечно. И в одном из них имеется отверстие, небольшая такая дырка, заклеенная какой-то легко тающей синтетической же дрянью.

Впрочем, возможно, что заклеено было, в соответствии с античными рекомендациями, и просто воском.

Все выше поднимается отбросивший всякую связь с людьми храбрый безумец.

Что храбрый, это уж все сразу поняли — и техники, и Гоша с Виктором, появившиеся в считанные минуты, потому что ситуация нештатная и ее разруливать надо. Вот он здесь стоит, Володичка Трофимер, а кто ж это тогда там, в светлом воздухе, летит к высотам духа и материи? И кто его прицепил, козлы? И как он там отцепился, уроды?

Но что действительно безумец, это потом точно узнали, когда опознали личность. Он

и в диспансере на учете состоял, и в стационаре по хронике хотя бы раз в год, но лежал.

...все выше, и выше, и выше... наших птиц, и в каждом... дышит спокойствие наших...

Ухает сумасшедшей совой барабан, визжат злобные трубы, пропадают в музыке буйные слова, льется с неба закатный огонь, пылают желток небесного яйца, тает воск.

Его потом целую ночь искали, шеренгой ехали с фарами, и нашли в конце концов аж за пятнадцать километров от взлета. Менты, которые его собирали и в черный мешок застегивали, еле держались, а ведь менты.

Повезло Володичке Трофимеру, депутату и ресторатору. Старался кто-то, дырку проковыривал, заклеивал легко плавящимся материалом — и все зря.

Зато Гоше с Виктором не повезло, затаскали их следователи, и налоговики подключились, и какой-то авиакомитет свалился на голову — впору закрывать бизнес. А серьезные люди говорят просто: во-первых, все бабки верните, если с процентами считать, вы еще кредит возвращать и не начинали, во-вторых, раз вам ничего поручить нельзя, даже простой несчастный случай, с вас еще полтинник штрафа и валите вдаль, пока мы расценки не подняли. Короче, попали пацаны.

А оно снова там, вверху, бешеное, рыжее, и все злее раскаляется к закату.

Толкнуться, подпрыгнуть, поймать дуновение...

Тянет к себе беспощадное светило, втягивает в себя, или, может, само втягивается, входит в грудь, жжет слева.

...а вместо сердца пламенный... стремим мы полет...

Прекрасен закат, полыхает небесное пламя, и тает воск. Не долетим.

Но лететь-то есть смысл только туда, вот в чем дело.

ЛЮБОВЬ

ЗЛА

Одни и те же видения преследуют, одни и те же мысли донимают в бессонное пред-
рассветное время — самое, как известно,
мучительное для нас, подверженных
привычной алкогольной интоксикации
с последующим абстинентным синдро-
мом. Проснешься, словно по будильнику,
в сакраментальные полпятого, почувству-
ешь все измученные образом жизни внут-
ренние органы... И сразу озябнет спина, искривится тихим рыданием лицо, нелепые слезы ожгут истончившуюся кожу в наруж-
ных уголках глаз.

А вы, прилетая поздним рейсом из
Франкфурта, допустим, на Майне в Шере-
метьево, предположим, второе, видите
в это время лишь цветное зарево, сверкаю-
щее и непрерывно меняющее рисунок,
словно старинная детская игрушка. Помни-
те? Купленная у инвалида картонная тру-
бочка, в которой пересыпались, отражен-
ные в маленьких зеркалах, цветные стек-
лышки. Поднесешь к глазу — и любишься
узором, многоугольными звездами и розет-
ками, повернешь чуть-чуть трубочку — и ор-

намент изменится с тихим шорохом пересыпающихся осколочков. Но стоит трянуть слишком сильно кустарное изделие — и все сломается, отлетят плохо приклеенные зеркальца, рассыплется геометрическая гармония на бестолковые стекляшки. Вот и сейчас за толстым самолетным окном такие беспорядочные огоньки видны по периферии главной картины, а что там светится, бог его знает. Может, коттеджное злокачественное новообразование, или старый секретный городок, неведомо зачем доживающий минувший век, или просто отдельно стоящий подмосковный оздоровительно-развлекательный комплекс Nizneie Vyu Khanovo Country Club... Пассажиры, хлопав, по перенятому у мирового сообщества обычаю, посадившим-таки самолет пилотам, уже толкаются в проходе, натягивая на вывернутые руки куртки и вытаскивая по головам попутчиков сумки из верхних ящиков, стюардессы вяло просят оставаться на местах до полного конца, но никто их не слушает — хорош, мы дома.

Собственно, дальше речь и пойдет о прекрасном чувстве любви.

В нижнебрюхановском клубе, к слову сказать, баня суперская. Неохота даже описывать все эти бассейны с искусственной волной, джакузи эти, холлы, телевизоры плазменные и бары. Их и так все знают, знаменитое место, пафосное, элитный отдых для состоятельных господ. И как раз сейчас там Руслан Абстулханов оттягивается, авторитетный предприниматель, слышали, навер-

ное? Он всегда в бейсболке фотографируется... А, вспомнили? Правильно, тот самый, который с Олесей Грунт одно время везде ходил, пока она на Сеню Белоглинского, «Южмарганец», не переключилась. Ее, кстати, что-то не видно давно, говорят, сейчас в Лондоне тусуется, там теперь много наших пацанов и девчонок, актуальное место стало... Да, так вот: то ли Руслана с тоски по этой непоседливой девушке плющит, то ли чувствует он, что скоро кончится беспощадно короткая жизнь (остается ему до ДТП со смертельным исходом восемнадцать дней), то ли просто так, но собрал он хорошую команду и рванули зажигать в Нижнее Брюханово, все свои ребята.

Володичка, например, Трофимер, депутат, магнат ресторанного дела и парашютист.

Или тот же марганцевый Сеня, он вообще-то парень скромный, голубыми своими глазами смотрит так, как будто виноват в чем-то, как будто украл что-нибудь. А чего стесняется? Непонятно.

Или Ваня Добролюбов, у него раньше большой строительный бизнес был как раз в этих, брюхановских местах, но что-то не срослось то ли с конкурентами, то ли с налоговой, то ли совсем наверху, и пришлось ему перенести активность на Кипр, а в Москву только отдыхать приезжает.

Кто еще? Кто ж там еще был... А, вспомнили! Тима Болконский, вот кто. Его, надемся, представлять не надо? Из той самой семьи, да и на собственном счету уже много

чего, один только культовый «Друган возвращается» немало стоит, а ведь еще и консалтинг, и пиар, и в избирательных делах не последний человек — в общем, звезда. Он как раз вернулся из Ирландии... нет, из Исландии, слез с этой диеты, на которой мы все сейчас сидим, и гуляет. Они здорово с Володичкой похожи — оба экстремалы (Болконский на мотоцикле рассекает, «хонда» у него за двадцать штук, ничего, а? плюс дайвинг), да и внешне тоже: головы оба бреют и бородки маленькие отпустили. Из-за этого имиджа Трофимера впоследствии вообще с посторонним человеком спутали, а что поделаешь? Можно быть круто в деле, а к нэйл-мастеру ходить, зачем против времени переть, трэнд — он как бы на самом деле типа обязаловка. Об этом даже стих есть какой-то...

Да, кто ж еще там был? Петр Павлович был, это точно. Сидел, как всегда, тихо в уголку, мол, пусть молодые веселятся, безбашенные, а я со своими бабками и так побуду, в сторонке. Хорошо сидеть в сторонке, когда в список ста попадаешь, а тебя при этом на Дмитровку не таскают.

Еще кто? N, конечно, был, как же без него. Тем более, что он тогда еще не погиб трагически.

Еще? Ну, Нерушимов Аркадий, если угодно. Недавно только доверили ему возглавить здешний РОВД, а он уже сумел зарекомендовать себя среди широких слоев местного населения и гостей района, иначе кто позвал бы простого мента в такую

компанию? А Нерушимов — с понятиями мужик. Дом они с женой Людмилой построили в здешнем ближнем Подмоскowie неплохой, живут там с родственниками жены прилично, но без лишних понтов, хотя люди обеспеченные и имеют отличную квартиру в городе, которую эта Людмила, конечно, сдает иностранцам, что и приносит милицейской семье все объясняющий доход.

А с Нерушимовым пришел его друг, Игорь Алексеевич Капец, тактичный такой мужчина, но физически сильно развитый и с большими шрамами на груди и спине. В разговорах участия не принимает, парится по два срока — и к нему никто не лезет, мало ли откуда в наше время у человека могут быть такие шрамы. Тем более, что, говорят, работает Игорь в ЧОПе, то есть в частном охранным предприятии.

В общем, много там народу собралось. Практически имел место репрезентативный срез всего нашего столичного общества, как сказали бы мы, если бы преследовали научные цели. Но цели наши чисто художественные: не поленимся снова напомнить, пишем мы рассказ о любви, что следует непосредственно из названия (см. выше).

И под утро затошнило вдруг Игоря Алексеича, буквально вот как нас сейчас от всего вышеописанного тошнит. Затошнило его от персонала модельного агентства «Red cats», обслуживавшего вечеринку всем своим визгливым составом, от приятной мужской компании затошнило тоже, и даже от бухла

дорогого затошнило. И вышел он на свежий ночной воздух в халате.

Невидимые черные деревья стояли в невидимом черном воздухе, невидимые мелкие звери шелестели в невидимой густой траве, а в белом свете, падавшем сквозь стеклянную оздоровительно-развлекательную стену, стоял в махровом белом халате Игорь Алексеевич Капец, подполковник воздушно-десантных войск в безусловном запасе по тяжелому ранению, ветеран интернационального долга и конституционного порядка, московский охранник, беспредельно жестокий, будем откровенны, человек — и думал о смысле своей жизни...

Ах, вам странно, что о вечном размышляет такой вот Капец? А ночью, да будет вам известно, уважаемые дамы и господа (хотя правильнее, конечно, говорить просто «господа», но у нас теперь прижилось это лакейское обращение, «дам» выделяющее особо), прекрасной ночью, когда пахнет невидимая природа чистой и прохладной сыростью, когда тихо шелестит что-то живое вокруг, когда в небе, среди звезд, мигает бортовыми огнями ваш заходящий на посадку франкфуртский рейс, — все в это время думают о вечном.

И подполковник бывший тоже думал, вспоминал.

Вспоминал, например, как горит тяжелым, с копотью, пламенем сухая нищая земля, как с неслышимым сквозь броню тихим хрустом рушатся под гусеницы глиняные

стены, как бежит маленький человек в белой рубахе, неся свою оторванную не до конца руку, и исчезает под гусеницами же, как дурным хохотом заходится обкуренный водитель, а вертушки снова поднимаются, выползают из-за холмов, болтаются в небе все ближе неровным черным строем.... Еще вспоминал, как лупит из зеленки бешеный пулемет и лежат у камазовских колес мертвые морпехи, с которыми пил час назад, а пулемет лупит, лупит, лупит, он упертый, этот чех, да и деваться ему некуда... И еще: Игорь лежит на ледяном трясущемся железе вертолетного пола, проникает в туго забинтованную грудь Игоря и рвет ее злобный стук движка, а Игорь закидывает голову и снизу видит, как волокут пацаны к открытой двери пулеметчика, взяли они его все-таки...

Нет, не пожелаю я вам таких воспоминаний.

А Капец Игорь Алексеевич постоял, подышал, постепенно отвлекся, успокоился, оглядел по боевой привычке тьму, окружающую свет, ничего опасного в ней даже своим умелым зрением не различив, и решил уже было вернуться к обществу, как вдруг взгляд его упал на плитки обширного клубного крыльца, на которых стоял он босыми ногами.

Прямо у ног этих, у кривых, уже сильно изношенных пальцев с толстыми выпуклыми ногтями, лежал яркий зеленый листок, немедленно, впрочем, оказавшийся небольшой лягушкой.

Самым естественным движением в этом случае было бы, конечно, зафутболить земноводное подальше, чтобы не марать босую распаренную ступню его скользкими мелкими внутренностями, да чтобы и кто другой, таким же образом вышедший передохнуть, не выпачкался нечаянно. Но вместо такого напрашивающегося поступка Игорь совершил обратный: присел на корточки, осторожно взял мелкое существо за остренькие бока пальцами правой руки и посадил его на подставленную, будто под денежную мелочь, ладонь левой. Ладонь при этом ощутила как раз то же самое, что ощутила бы, если б лягушонок был действительно маленьким древесным листком, не по сезону слетевшим с ветки, — неуловимый вес и влажную гладкость.

Вообще Игорь Капец всегда любил животных, с детства.

В детстве, прошедшем на опасных просторах у шоссе бывших Энтузиастов, в смертной тени градирен и длинных заводских стен, животным был кот под незатейливым именем Барсик. Игорь с маманей жили на первом этаже небольшого желтоватого дома, построенного лет за десять до войны для улучшения быта рабочих, в комнате от предприятия. Маманя трудилась без прогулов формовщицей, а после смены все время проводила в нездоровом хриплом сне, одолевавшем ее всего лишь от двухсот граммов вина «Кавказ», выпитых в постоянной компании подруг по цеху. Тогда Игорь открывал окно комнаты, выходящее в забросан-

ную молочными пакетами и картофельными отходами рощу бурьяна позади дома, и впускал Барсика.

Некоторое время кот, серый в бурюю полоску, как любой дворовый кот, медлил на подоконнике, будто всякий раз заново привыкал к своему приюту. Большая его круглая голова медленно поворачивалась из стороны в сторону, как антенна стоящего на страже мирных границ радара, глаза цвета портувейна по-снайперски четко фиксировали подозрительные детали обстановки, параллельные горбы лопаток переливались, поскольку он уже почти узнал это прекрасное место, готовился к счастью и от этого месил когтями ободранный подоконник, подгибая в воздухе кончики лап. Между тем Игорь уже выставлял на пол посередине комнаты угощение — оставшиеся в тарелке и давно застывшие, конечно, пельмени, честную треть сваренной перед приходом матери пачки. Барсик пельмени глотал почти целиком — что, кстати, вредно только для человеческого пищеварения, а коту ничего — и, немного подождав из вежливости добавки, ложился отдыхать на матрасе, точно на то место, которое Игорь ему указывал, похлопывая ладонью.

Несколько минут спустя в комнате уже спали все.

Худая женщина с темным лицом того неживого цвета, по которому безошибочно определяется исчерпавшаяся печень, лежала, храпя и захлебываясь, на спине поверх вязанного крючком кроватного покрывала,

тонкие ее пропитые ноги порознь торчали из-под лавсанового, в мелких старушечьих цветках халата, какими одарил к Восьмому марта всех без исключения работниц вредного цеха справедливый местком.

Длинный для своих двенадцати лет мальчик перевернулся, засыпая, на бок и подтянул к груди колени в проношенных до мелких дырок линялых синих трениках — чтобы согреться или просто от желания вернуться в утробу, свойственного многим спящим людям, даже взрослым.

А кот, поместившись в тесном пространстве между коленями мальчишки и его теплым животом, вывернул от наслаждения голову черточками зажмуренных глаз кверху и стал похож на туго скрученное человеческое ухо, или на один из только что съеденных, таких же серых пельменей, или — если не смотреть, а слушать — на небольшой, трудолюбиво рокочущий трактор.

Собственно говоря, они были счастливы тогда.

Из-за Барсика Игорь и пошел в десант, чтобы научиться всем приемам, которые нужны одному против троих. Их там, за домом, как раз трое было, незнакомых пацанов, наверное, случайно зашли во двор покурить, а тут кот... Барсик, между прочим, как только вырвался и до того, как исчез на три дня отлеживаться в подвале, вцепился одному в шею сзади, но это Игорю почти не помогло. Два зуба у Игоря потом еще долго шатались и кровили, бок правый, куда арматурой попали, вспух черной полосой и бо-

лел сильно... Но постепенно все прошло, и он стал ходить на секцию, ездил на стадион Юных Пионеров через весь город, и с первым юношеским по вольной его в военкомате без разговоров приписали в вэдэвэ.

За неделю до отправки Барсик явился, как обычно, под вечер, крепкий и спокойный, осмотрел комнату. Все было нормально, только на полу стояли заготовленные маманей к проводам бутылки вина и белой. Кот обошел бутылки, дергая бледно-розовым плоским носом, сел и внимательно поглядел снизу в лицо Игоря. «Вот так, — сказал ему Игорь, — прощай, девчонка, пройдут дожди, понял?» Оказалось, что понял: пельмени, по обыкновению ему предложенные, есть не стал и даже зарыл формальным невнимательным движением, спать к Игорю не лег, а вместо этого залез под материну кровать в дальний угол. Наутро обнаружился там же, хотя всегда уходил в окно до рассвета... Так Игорь его и оставил, а когда к ночи вернулся после безрезультатной прощальной прогулки с быстро забывшей его впоследствии девушкой, мать сидела на кровати, опершись локтями на широко расставленные под халатом колени, и глядела вниз, на стоявшую между ее тапок почти допитуемую бутылку розового крепкого из сделанного к проводам запаса. «Подох кот, — сказала мать, — я со смены пришла, поглядела, а он там уже на боку лежит, скалится... Как раз мусорка приезжала, я успела кинуть».

Сама мать померла, когда Игорь еще присягу не принял, но отпуск ему дали, хотя не положено. С похоронами он управился за два дня и больше в родную комнату не возвращался — ни из Тулы, пока тянул срочную, ни из Рязани за все годы учебы, ни потом, из разных мест, куда его посылали для дальнейшего прохождения службы.

Жениться он не стал, потому что любви никакой не было, а просто ради семьи тоже не хотел — плодить нищих на офицерские тысячи. И только животные к нему всюду прибивались. В училище старая и наглая местная кошка признала его хозяином, бросив кормившего ее старшину столовой; в Смоленске принадлежавший всему офицерскому общежитию волнистый попугай, непрерывно бормочущий, словно приглушенное радио, но исключительно матом, только его вполне осмысленно называл по имени, стоило Игорю наклониться к клетке; даже в Афгане одно время бегала за ним сверхъестественно тощая белая собачонка; а под Ведено прижился в его палатке большой рыжий пес формой вроде овчарки, но вскоре налетел на растяжку, одни клочья лохматые остались... И каждый раз, расставаясь с очередным своим дружкой, Игорь сильно переживал, крепко выпивал на прощанье и шел к «газону», бээмдэ или вертушке, таясь, чтобы не встретить горестный взгляд покидаемого. Когда же разорвало висячей чеченской гранатой Рыжика, майор Капец взял автомат с подствольником и, не слушая никаких уговоров, пошел в оче-

редную зачистку сам, и после этой зачистки были бы у него большие неприятности, поскольку человек он, как мы уже сказали, жестокий и к людям относится совершенно без сочувствия... Но тут десантуру кинули к Ачхой-Мартану, там ему продырявило легкое, и все кончилось дембелем по здоровью.

Каким-то чудом и как коренному москвичу выделили ему опять комнату и, надо же, опять на первом этаже, только уже на Усачевке. Сослуживец, прилично поднявшийся в охранном бизнесе, взял, несмотря на инвалидную группу, в свою фирму, посадил в торговом комплексе «Петров-сити» к видеонаблюдению. И стал Игорь Капец, тридцати пяти лет, тихо жить, пить иногда пиво и водку со своим приятелем из ментов Аркадием Нерушимовым, по праздникам приходит к Нерушимовым в гости, иногда кое-какие дела для Аркадия делать, которые частному охраннику больше подходят, чем кадровому менту, в остальное же время ждать чего-то, а чего — это не было известно ни ему самому, ни кому-либо другому.

Все мы чего-то ждем. Дни летят, как монета, пущенная шутником по эскалаторному поручню, и в чем смысл их? Да нету смысла, честное слово. И единственное, чегождемся мы все без исключения, так это сердечной недостаточности, и привет. Если же кому повезет и в коротком земном промежутке существования свалится на него счастье, то, скорей всего, не заметит он этой своей удачи, примет ее за лишние хлопоты,

отпихнет двумя руками и пустится дальше вниз, со звоном и все быстрее...

Господи, куда это нас занесло?! Обещали о любви, а сбились на что? На смерть, злобу, лютое одиночество, отчаяние неизбывное. Ничего нас не берет, никакой подъем экономики, все о своем плачем, а ведь сколько раз сказано — думай о хорошем, о хорошем, старый дурак!

Ладно, хватит, действительно.

И без того тоска.

Вернемся лучше вместе с нашим знакомым в баню.

Там, надо сказать, уже гулянье идет по полной программе. Модельное агентство все вверх ногами стоит и шампанским облито. Некоторые мужчины, тот же N, к примеру, прямо на мраморном полу пытаются осуществить случайную половую связь. Другие — как, допустим, Тимофей Болконский, деятель актуального искусства — мучаются сильной рвотой. Третьи — да хотя бы депутата Трофимера взять или начальника райотдела Нерушимова — просто спят в креслах, знобясь и бессмысленно укрываясь влажной простыней. И так далее.

Среди этого безобразия Игорь, будучи почти трезвым и профессионально подготовленным к осторожным действиям, быстро и незаметно проходит к своей одежде и одевается, действуя при этом одной правой рукой, а левую держа сжатой в крупный, но бережный кулак, и снова выходит из неприличного помещения, направляясь к своей сильно потертой «пятерке», зате-

савшейся среди достойных места машин, и вот уже гонит по пустому и блестящему от неожиданного ночного дождя шоссе, и капли ползут, вопреки силе тяжести, вверх по лобовому стеклу, и еле заметно выпирает левый нагрудный карман мужской рубахи, и слабые лапки тихо скребут сквозь ткань мужскую грудь там, где сердце.

Сначала он ее в банке держал и кормил пшеном. Но уже на второй день съездил, сменившись, в зоомагазин, купил настоящий террариум за приличные деньги и особую фирменную еду в пакетах, привез все это к вечеру, посадил ее, покормил с рук — вроде бы понравилось ей... А душа все равно была не на месте, ему казалось, что ей там неудобно, и, засыпая, он решил завтра снова съездить в тот центральный зоомагазин и посоветоваться со специалистами.

Проснулся он среди ночи от того, что кто-то тихо, но отчетливо произнес его имя. Сон у него был чуткий, однако реагировал во сне на шум он выборочно, как и положено хорошо повоевавшему человеку — мог спать под свой «Град», но проснуться от чужого шороха за палаточным брезентом. Почему он проснулся на этот раз, непонятно, никакой угрозы в голосе, окликнувшем его, не было, голос звучал приятно, даже ласково, принадлежал же не мужчине, но и не женщине, скорее ребенку лет десяти.

Он открыл глаза и в идущем от окна городском свете увидел лягушонка, сидевшего на его подушке. Рубиновые глаза смотрели на него с любовью, и эту любовь Игорь

Капец сразу почувствовал, и ответил на нее всей своей изувеченной душой, и обрадовался ей, потому что понял наконец, чего ждал он все эти пустые годы.

— Разбудила? — робко спросила лягушка. — Ну, извини...

— Да ладно, — тихо, как всякий нормальный человек ночью в постели, да еще и помня о соседях, ответил Игорь. — Привет...

— Привет, Игорь, — лягушка улыбнулась осторожно, помня, видимо, что слишком широко улыбаться ей не идет. — Я стеснялась сначала, а ночью вот не спалось, ну и, думаю, надо поблагодарить за все доброе. Спасибо тебе, Игорь Алексеич, что отнесся по-человечески...

— Да ладно, — повторил Игорь, поворачиваясь на бок лицом к собеседнице, упираясь локтем в подушку и ложась щекой на ладонь, то есть принимая обычную для постельного разговора позу. — А ты, извиняюсь конечно, говорящая, значит, да?

— Говорящих лягушек не бывает, — грустно вздохнула лягушка и снова улыбнулась, зная, наверное, что сдержанная улыбка получается у нее очень симпатичной. — У лягушек голосовой аппарат так устроен, что можем мы исключительно вот что...

Тут она уже было напрягла белую нежную шейку, но Игорь перебил ее.

— Не надо, соседи, — он ткнул за плечо большим пальцем в сторону стены, за которой снимало у местной пьяни остальные две комнаты квартиры семейства абхазских беженцев. — Я раньше слышал... Хорошо,

а как же получается, что мы с тобою сейчас разговариваем?

— Это ты разговариваешь за двоих, понимаешь? — Она протянула тонкую суставчатую лапку и еле ощутимо дотронулась до широкого мужского предплечья, и слабый ток проскочил по Игоревой руке, и короткие рыжие волосы, которыми густо поросла эта мощная рука от самых пальцев до локтя, поднялись и зашевелились от электрического ветра, как всегда шевелятся короткие мужские волосы от женской нежности. — А я отвечаю мысленно, типа телепатия, знаешь? Вы, мужчины, вообще всегда за двоих говорите, сами себе за нас отвечаете... Видишь, у меня даже губы не шевелятся.

Действительно, тонкие ее губы оставались неподвижными, но прелестные красные глаза сияли таким светом, что она могла бы и без мысленных слов обойтись, все было само собой ясно.

— Что ж тебя, как в сказке заколдовали, что ли? — Игорь услышал в своих словах отенок насмешливого недоверия, на которое любая должна была бы обидеться, но уже вырвалось, и он даже продолжил, чувствуя, что говорит глупость. — Кощей Бессмертный или кто?

— Какой там Кощей! — Она глянула вправо и влево, испуганно сверкнув своими рюбинами, и в один коротенький прыжок придвинулась к лицу Игоря почти вплотную, так что он почувствовал холодок ее дыхания. — Спецслужбы, Игореша, понимаешь? Спецоперация... И забудь сразу, понял? Ина-

че они и тебя достанут, им из человека червя сделать — на раз. А с червяком я жить не смогу, инстинкты, Игорек, сильнее любви...

Так и проговорили они до утра. Это бывает: сразу как-то поведет на душевные отношения, и даже физиология отступит, и всю ночь, перебивая друг друга, каждый о своем, о старых ошибках, обидах, несправедливостях, неудачах, бедах, болезнях, а потом уже вроде и неловко переходить к физическим нелепым упражнениям. Оденетесь, отвернувшись, позавтракаете чем найдется, выпьете даже с утра от смущения... Да и — если день выходной — снова завалитесь спать, уже не раздеваясь, мертвым после бессонных суток сном, прижавшись спинами под общим пледом, и очнетесь снова к вечеру... А уж тут встанет все на свои места: и страсть будет, и твердое к середине второй ночи решение, что теперь уж навсегда, навеки, пока не разлучит вас смерть, и пойдет, пойдет, закрутится очередной кусок судьбы...

Работал он в своем ЧОПе «Три богатыря М» сутки-трое, поэтому времени они вместе проводили много. Пока он отсутствовал, она одиноко дремала в террариуме, отдыхала, встречала его выпавшейся и свежей. Ужинали не спеша и почти не разговаривая, говорили по ночам, а за едой каждый думал отдельно, решал, мучаясь, как быть дальше, пытался угадать, куда повернется жизнь. Продукты ради такой нештатной ситуации он брал не в «Продуктах» возле дома, а в охраняемом по договору супермаркете

«Петров-сити», где ему полагалась скидка. Ей больше всего нравились спагетти российского производства по итальянской лицензии под грибным немецким соусом. Он с удовольствием смотрел, как она мгновенно втягивает в себя длинные, оранжево-желтые от соуса нити, и спешил осторожно вытереть бумажной мягкой салфеткой узкие милые губы. Никогда прежде не испытывал он подобного счастья, поскольку детей не имел, а потому и не кормил их. Она смущалась и прикрывала рот маленькими лапками с микроскопическими и оттого очаровательными коготками.

Потом смотрели телевизор, но недолго — ее интересовали новости с родины, но откуда ничего не сообщали, страна все как-то не попадала в центр внимания мировых средств массовой информации, он же был склонен поглядеть какой-нибудь сериал, но путал каналы и никак не мог понять, почему все время меняются герои, и куда делся парализованный старик, с которого все начиналось.

Потом ложились спать, и бесконечно длилась первая ночь знакомства.

Снова и снова рассказывала она страшную свою историю, описывала чистенькую свою страну, всю прорытую каналами и усыпанную маленькими озерцами, по берегам которых сплошными стенами стояли разнообразные, но при этом одинаковые небольшие дома с острыми крышами и деревянными балками, косо пересекающими фасады, а в водах так же вплотную одна к другой ка-

чались на мелкой волне лодки с высокими и тонкими пустыми мачтами, и вот из этого тихого рая выбросили ее темные силы международного разбоя, очнулась она в мрачном подмосковном лесу, хотела кричать, но лишь слабое лягушечье стрекотанье вырвалось из напрягшегося горла, вот ужас, представляешь, Игорь, представляешь?! Ей восемнадцать, младшей сестре четырнадцать, брату девять, а родителям под шестьдесят — дети получились поздние. Так что была она уже объявлена официальной наследницей, и протокольная ее фотография в парадном мундире полковника королевской гвардии была уже опубликована, и хотя осенью ей еще предстояло вернуться в Кембридж для завершения курса, но уже в статусе Ее Высочества. Однако политика отца всегда противоречила планам некоторых могущественных организаций, и вот, пожалуйста...

— Но теперь я ни о чем не жалею; — всегда одинаково заканчивала она долгий рассказ и прикасалась тонкими иголочками коготков к его коже, и электричество любви проникало в него.

О себе он рассказывал осторожно, она бы не вынесла всей правды, ее никто не вынес бы, не то что мирная девушка, даже надевавшая ради маскарада какой-то игрушечный мундир. Ну, воевал... Ну, стрелял, значит, и убивал, а как же... Знаешь, там выбирать не приходилось... Ты бы на них посмотрела, звери просто... Извиняюсь, к тебе не относится, конечно. Это? Это от пулемета, назы-

вается РПК, ручной Калашникова, вот тут вошло, а тут вышло, видишь?.. Знаешь «калашникова»? Ну вот, только это пулемет был... Ну, не плачь, не плачь, взяли мы потом этого стрелка...

Тут он резко заткнулся, успел сообразить. Она смотрела на него, не отрываясь, ночной уличный свет мерцал в ее глазах кровавыми отблесками.

— Я знаю, что вы потом сделали с этим чеченом, — сказала она. — Я знаю.

— А его что же, наградить надо было? — Он начал заводиться. — А если б они меня раненого взяли, наградили бы? Ты их награды видела? По телевизору показывали, как они ваших четверых наградили, головы на обочину выставили. Видела, ну?

Она не отвечала, и он увидел маленькую рубиновую слезу, выкатившуюся из рубинового глаза.

После очередного дежурства Игорь задержался — сели с другом и сослуживцем по «Трем богатырям» Колей Профосовым в клеенчатом павильоне пивка попить и перетереть возникшую проблему, для чего лучше Коли товарища не найдешь. Во-первых, Николай давно уже семейный человек, две взрослых дочки, не говоря о жене, и потому совет по личному вопросу может дать грамотный. Во-вторых, до ухода в частный сектор Профосов Н.П. служил в спецбатальоне ГИБДД и по долгу службы был информирован о жизни высокопоставленных персон типа вип, так что в принцессах понимал лучше, чем, к при-

меру, даже общий их знакомый Нерушимов Аркадий, хотя тот, конечно, уже три звезды милицейские получил, живет состоятельно и корешится с конкретными людьми. Наконец, в-третьих, есть кое-какие сведения или, точнее, слухи, что во время дорожно-постовой службы имел место со старшим лейтенантом Профосовым случай встречи с нечистой силой в виде не то скелетов каких-то, не то призраков, после какого-то случая из органов его списали, о чем он вспоминать, конечно, не любит, но с другом и тет на тет опытом, скорее всего, поделится.

Мужики сели за дальний стол уединенно, чему способствовала их черная серьезная форма, не располагающая случайных людей к навязчивому общению.

— Что, есть проблемы? — Николай Петрович тянуть резину не стал, а перешел к делу сразу, едва сняв нижней губой с усов пену после первого глотка. Не такое теперь время, чтобы вокруг ходить и около, все такие деловые стали, просто конец света. Тем более, что в девять бокс по «Евроспорту» хороший, да и сам Игорь Алексеевич Капец тоже на часы, только сели, глянул.

И рассказал счастливый влюбленный свою несчастную историю от начала и до конца. Буквально в пятнадцать минут уложился, включая описание далекой страны. А Коля выслушал все внимательно и молча, подождал, пока Игорь за третьими кружками сходит, и, только третью начав, задал наконец вопрос.

— А на каком же языке она с тобой говорит? — спросил он. — На шведском, допустим, или какой там у них язык?

Игорь очень удивился, потому что ответить на этот простой вопрос сразу не смог.

— На шведском?.. — повторил он, подумал немного и засмеялся. — Да на каком, к херам, шведском, Коля, ты что? У меня в училище-то и по английскому трояк был, я ведение допроса чуть не завалил... По-русски она говорит вот точно как мы с тобой, и слова все знает, и акцента нет никакого...

— Это странно, — помолчав и допивая третью, сказал Коля. — Ну, ладно... А в койке она как? Ловкая или так лежит, без интереса?

Тут уж Игорь не выдержал.

— Ты чего, Колька, вообще охерел, в натуре, такое спрашивать? — заорал он, чуть не развалив кулаком синий пластмассовый столик, но тут же сбавил, оглянулся, поймал еще катившуюся к краю столешницы пустую кружку и продолжил тихо: — Она ж лягушка, мудило ты ментовское! Я ж ее люблю и спрашиваю у тебя совета, как у человека, а ты...

— Значит, не трахал, — снова помолчав, сделал вывод Коля и окинул взглядом пустые кружки. — Сходи по последней, а, Игорек?

Взяли по последней, стемнело уже. Игорь начал торопиться, вдруг представив себе, что она сейчас проснулась в своем стеклянном ящике, ей одиноко и страшно, да и проголодалась, наверное, за день-то...

И тут Николай Петрович Профосов нарушил уже ставшее обременительным молчание.

— Любишь? — спросил он кратко и решительно, явно не ожидая никакого ответа. — Любишь? Женись!

Ну как вам нравится такой советчик?! Принял два литра и советует. Мы даже знаем, откуда он взял эту формулу «любишь — женись». Имелся у нас с ним общий знакомый, милейший человек, внешне на профессора был похож, а выпивал серьезно, но при этом физически оставался необыкновенно сильным, в молодости три ходки закалили. Так вот он, как увидит, что кто-нибудь на женщину или девушку смотрит, тут же хватается эту бедную даму за талию, сжимает так, что у нее ребра трещат, как хворост в огне, и говорит тихо и серьезно: «Любишь? Женись». Такая у него шутка была... Уж восьмой год скоро, как помер. Царствие ему Небесное, хороший человек был, часто вспоминается.

Но ведь тут-то не шутка, какие шутки, когда решает Капец Игорь Алексеевич судьбу свою?!

Впрочем, как оказалось, и Профосов Николай Петрович не шутил. Сгребя в сторону кружки, чтобы не мешали тесному сближению голов, он быстрым и вполне трезвым шепотом изложил приятелю свои соображения о плане дальнейших оперативных действий. Не будем вдаваться в подробности, тем более что, если честно, многих подробностей мы и не расслышали. Так, уло-

вили кое-что: поцелуй... посольство... Аркашку подключить... приглашение на государственном уровне... с Людмилой обязательно поговори, она толковая тетка... опять что-то про поцелуй... и будешь ты, Игоряха, вашим величеством, понял-нет?

Ох, боже ж ты мой! Ну почему, почему?! Почему не бывает счастливой любви, а что счастливое, так то и не любовь вовсе? Почему любовь зла? И что значат эти двусмысленные слова? То ли означают они, что плохая, мол, вещь, любовь эта, того и гляди, какого-нибудь козла полюбишь... То ли — что любовь есть порождение и принадлежность зла, сиречь дьявола. Любовь Зла... Что до нас, то мы все больше склоняемся ко второму толкованию, сплошь и рядом наблюдая в окружающей действительности именно любовь Зла. Любовь Зла к Добру, губительную страсть, удовлетворяя которую любовники то и дело меняются местами и ролями, так что уже и не разберешь, где кто, чей мелькает и колотит яростно по сторонам мохнатый хвост, чьи белоснежные крылья трепещут...

Ах, беда. Плохо, господа, устроено бытие наше. Но это, может, и правильно — расставаться легче будет с юдолью неисчерпаемых наших слез, хотя и не хочется пока, не хочется.

Она задремала на полуслове, а он все лежал на боку, подперев щеку рукою, и смотрел на нее. Потом, стараясь не зашуметь, придвинулся, вытянул смешно, как ребе-

нок, губы и чуть коснулся ими тонкой кожи — влажной, будто в ночном легком поту, но в мелких, словно от озноба, пупырышках.

И тут же откинулся и заснул как убитый.

А поздним утром, разбуженный беспощадным и всюду проникающим серым светом пасмурного неба, проснулся один.

Окно было распахнуто, и нигде ее не было, ни в одном закоулке обысканной им комнаты. И под окном не было никого и ничего, только показалось ему, что просыхают на сырой с ночи земле маленькие следы босых человеческих ног, но и следы эти скоро затянуло прахом.

Сидя на краю кровати в растянутых трикотажных трусах, из которых вываливались уже никому не нужные части его тела, он потянулся к лежавшим на стуле сигаретам, но ухватил вместо них зачем-то пульт от телевизора и, все еще не понимая зачем, ткнул в первую попавшуюся кнопку.

На пыльный, но понемногу прояснившийся экран вылез довольно противный парень с микрофоном в руках.

— ...с неофициальным визитом, — сказал парень. — На время пребывания в нашем городе ее высочество остановилось... она остановилась... в резиденции посла...

Произнеся последние слова, говоривший вместе с микрофоном отъехал назад, так что стал виден в полроста. Одет он был хорошо, как никто в буднее утро не одевается, — в светлом пиджаке и рубашке с галстуком. А позади светлого пиджака обнаружил-

ся старинный желто-белый двухэтажный дом с наглухо закрытой лакированной дверью, над которой плескался флаг цветов моря и неба, с крестами, львами, щитами и венками.

— ...откуда, после короткого ознакомления с некоторыми достопримечательностями столицы, отбыла... отбыло... в аэропорт Домодедово, — закончил парень и вдруг ни с того ни с сего обратился в кому-то с вопросительной интонацией: — Зинаида?..

Немедленно на экране его сменила еще более неприятная девушка, сидевшая в закрытом помещении и раздраженно глядевшая в экран складного компьютера.

— Спасибо, Семен, — сказала она в компьютер и подняла глаза на застывшего от всего увиденного Игоря Алексеевича. — А теперь из аэропорта Домодедово репортаж нашего корреспондента Василия Племяникова. Василий?..

В телевизоре взвыли самолетные двигатели, и появился с микрофоном в руке Василий, длинноволосый, в отличие от коротко стриженного и аккуратно причесанного Семена, и, вместо пиджака с галстуком, в короткой курточке поверх майки, но тоже несимпатичный. Аэродромный ветер красиво трепал длинные волосы Василия, а позади этих хорошо вымытых и наверняка лишенных малейшей перхоти волос по бетону полз и разворачивался короткий и толстенький самолет с уже знакомым флагом на борту.

— Здравствуйте, Зинаида, — сказал Василий после небольшой паузы, которую он

выдержал с напряженным выражением лица, возникающим обычно, если внезапно прихватило живот. — Только что мы видим, как взлетает, взлетая, вылетающий из аэропорта Домодедово, мы видели, из аэропорта, самолет, лайнер, который мы видим, воздушный лайнер, которым отправляется, улетая, к себе на родину после неофициального визита, но дружеского, вот на наших глазах он набирает высоту, нет, еще нет, вот он выруливает на взлетную полосу, полосу взлета, и перед отлетом, перед возвращением на родину, мы взяли эксклюзивное интервью, нам дала интервью эксклюзивное ее величество... вернее, ее высочество, точнее, ее высочество принцесса, как вы знаете, находившаяся с коротким неофициальным... вот он вырулил на взлетную полосу, сейчас будет взлетать... ее высоче...

Двигатели взвыли громче, самолет с флагом вырвался из-за волос Василия и быстро поехал по бетону, все быстрее и быстрее, а двигатели выли, и Игорь Алексеевич Капец так и не расслышал имя своей любимой.

Зато он увидел ее.

На экране опять появились волосы Василия, но теперь их показывали со стороны затылка.

А из-за волос выглядывало лицо совсем юной, лет шестнадцати на вид, девушки, и Игорь эту незнакомую ему девушку сразу узнал — узнал эту бледность с зеленоватым оттенком, какая бывает у девушек, проводших бессонную ночь, эти немного навывкате

карие с вишневым оттенком глаза, этот широкий рот подростка.

Обычно про таких девушек говорят «некрасивая, но милая».

— Эх, ты, — сказал Игорь Капец принцессе, — что ж ты так? Не попрощалась даже...

Девушка быстро шевелила узкими губами, но слов ее не было слышно.

— ...особенно люди... э-э... вашего города, — вместо девушки заговорила удивительно глупым голосом скрытая в телевизоре переводчица. — Ее высочество говорит, что москвичи очень добрые, сердечные и... ну, это... благородные. Те, кого она встретила и успела... в общем... полюбить... да, полюбить всей душой. И она... в смысле ее высочество... передает свою благодарность и любовь этим прекрасным людям. И шлет им... да, воздушный поцелуй. Благодарю вас.

Голос заткнулся, а на экране остался только светло-голубой воздух с желтым кругом солнца посередине, к которому, задрвав тупой нос, поднимался толстенький самолет с уже почти невидимым флагом на боку.

Игорь наконец закурил, сидя на кровати, но тут же бросил сигарету на пол, затоптал босой подошвой, встал, отломал ножку от стула и разбил ею сначала пустой террариум, потом телевизор, потом выбросил палку в открытое окно и лег снова спать.

А вечером того же дня добрые абхазские соседи вызвали «скорую», и она повезла больного к Преображенке, свернула на набережную, еще раз свернула, открылся шлагбаум, мелькнуло знакомое, увы, и нам

светлое имя профессора Ганнушкина в названии медицинского учреждения, микроавтобус с крестом въехал в короткую аллею больших старых деревьев, свернул налево, затормозил, вышли, не торопясь, санитары...

И вся, как говорится, любовь. Где только от нее не лечатся! Причем некоторые даже успешно.

Вот и Капец И.А. был выписан через два месяца в состоянии устойчивой ремиссии и с передачей, конечно, на учет в психоневрологическом диспансере по месту его жительства.

Однако на поверку-то оказалась ремиссия не такой уж и устойчивой. Потому что домой, в комнату на Усачевке, Игорь не поехал. Вместо этого он направился — причем пешком, хотя деньги, вы не поверите, ему вернули вместе с одеждой все до копейки — в совершенно противоположную сторону. К утру он зачем-то достиг Тушинского вещевого рынка, где вдруг проявил здравый смысл следующим образом: приобрел подходящую сезону одежду. Госпитализировали-то его прохладной весной, в толстой клетчатой рубаше и спортивных брюках из липкой синтетики, а выпустили в середине жаркого лета. И он купил на все деньги, шестьсот рублей, удобные и легкие штаны из хорошего турецкого материала, с большими карманами. Штаны эти напомнили ему покроем форменные, камуфляжные, и очень понравились, он их как надел в примерочной за коробками, так и не снял боль-

ше, а синтетические оставил на месте переодевания. Больше у него денег не было, только на тонкую и длинную сосиску в булке. После завтрака Игорь Алексеевич вытер кетчуп с лица оставшейся бумажкой, а бумажку аккуратно положил в урну, при этом в обычной урне обнаружился приятный сюрприз — кто-то, тоже обновив гардероб, бросил в мусор использованную, но вполне еще годную майку и крепкие ботинки типа тапочек... В общем, при выходе с рынка его уже было не узнать.

Да и до этого, если честно, в стриженном больничной машинкой наголо и обросшем за ночь светлой щетиной бомже нелегко было узнать подполковника, хотя бы и бывшего.

А он все шел себе и шел, пересек в воздухе, по прозрачному переходу, кольцевую автодорогу и двинулся дальше на северо-запад вдоль шоссе. Сверкающие машины, проносясь, обдавали его раздраженным ревом и ядовитым российским выхлопом, пыль покрывала лицо, огненное, уже закатное, солнце слепило глаза. Но он не щурился, глядя на пылающий шар, к которому вознеслась его лягушка.

Больше ему нечего было делать здесь, среди людей и других не способных к счастью тварей.

Да хватит же плакать! Не плачь, там встретимся.

В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ

Если повернуть от выхода из метро за угол, там они и стоят.

Много раз проносились, да и сейчас, бывает, проносятся над этим местом и вообще по городу слухи, что снесут их к такой-то матери как оскорбляющие общественное эстетическое чувство, не говоря уж о разжигании национальной розни, поскольку держат весь ряд азеры, и об ущемлении социальной справедливости, потому что наиболее политически активные пожилые граждане до сих пор расстраиваются из-за введения свободы торговли и последовавших за этим народных бедствий. Но ларьки остаются на своих местах, поощряя к сгущенному существованию быстрых крыс, бездомных нищих, приезжих девушек и других неизбежных жителей вольного мегаполиса. Стоят себе, как ни в чем не бывало, стеклянные халабуды, в тесных и душных внутренностях которых любой желающий найдет ужасные товары.

Впрочем, такие, какие прежде, в мирное время, доставали мы, надо признать, лишь в особых, тайных местах, предъявив выдан-

ный в райкоме или еще выше пропуск. Только там продавалось чешское баночное пиво, отпускалась сырокопченая колбаса, стояли бутылки «Московской» с винтом и зелеными медалями на этикетке, можно было приобрести джинсы Rifle, болгарскую дубленку и кассетный магнитофон Sharp.

Все то же самое, только в гораздо большем выборе, можно сейчас мимоходом купить в этих поганых прозрачных лавках, однако ж никакой радости от этого не испытаете — наоборот, если что и возьмешь по пьяни, то потом обязательно обругаешь себя последними словами, а купленное барахло засунешь куда-нибудь подальше, чтобы не напоминало о минутной глупости. А в распределителях... О, в распределителях! Счастье, и чувство причастности к великой идее получения по труду, и прекрасные запахи азиатской пластмассы, чуждой мануфактуры, редко употребляемой еды, наполнявшие режимное помещение, и сдержанное спокойствие на лицах других допущенных товарищей — ушло все это, сгинуло в пучине бессовестного времени, разрушившего идеалы, обычаи, страну да и сами организмы наши. И даже те из нас, кто ни о каких ларьках уже и не знает, а удовлетворяет свои на редкость цивилизованные потребности в торговых центрах из искусственного мрамора или в безлюдных залах бутиков, — даже и они не испытывают того, наполнявшего все тело пузырьками, чувства достижения цели, какое, помните, испытали когда-то мы, отоварив бесполовые чеки «Березки»

вольнодумной джинсовой курткой, которые как раз завезли.

Ушло, все ушло. Была ясная, как прохладное августовское небо, жизнь. Пределы были положены нашему земному существованию — трехкомнатный жээска, белая двадцать четвертая, строго отмеренные сотки по Казанке. И мысли нашей, лукавой и обманчивой, были положены достойные ее пределы — подписавшемуся на пять газет профком выделял «Новый мир», а в Бескудникове жил парень, который за четвертной переделывал обычную «Спидолу» так, что она брала с тринадцати метров... Теперь же куда бежать? Только дернешь куда-нибудь по своему разумению — туда, оказывается, нельзя, только наладишься в противоположную сторону — там уже занято. Что это вокруг? Куда едут эти машины? Кто живет в этих домах? Что уже отменили, что приняли с поправками? Откуда доносится эта музыка, эти простые, но бессмертные слова о девчонках и зоне? Что там говорят по телевизору, кого мы победили? Ах, оставьте меня! Болит над поясницей справа, вероятно, это почки, и никак не сделать полный, глубокий вдох, и черт с ней, с вашей свободой, мутной и безвкусной, как лекарство от желудка альмагель.

Что же касается ларьков, то их, конечно, снесли в конце концов — те, что были от метро через дорогу. Там, как известно, построили торгово-развлекательный центр «Петров-сити» и торгуют всем, чем хотят. Можно картошки купить на первом этаже,

в супермаркете, мытой с мылом и невкусной, а можно на втором, в магазине «Мужской признак», приобрести в подарок другу японский меч, тоже реальная вещь... А вот те стекляшки, что от метро за углом, пока оставили, они не на виду и окончательной стабильности не мешают, тем более что у азеров все проплачено по полной программе.

К этому ряду, поднявшись из-под родной буквы «М», мы и спешим, к дальнему его концу. Там дают из окна рассыпающуюся в ладонях шаурму, там, рядом с шаурмой, всегда есть в продаже ломкие пластмассовые баллоны «Очаковского» или, по желанию, маленькие и хорошенькие, как ручные дети, бутылочки белой пригородного разлива, там можно пристроиться у неширокой пластмассовой доски по соседству с соотечественниками и повести с ними достойную беседу, там продолжается существование, для которого создан человек.

Кого же обнаруживаем мы там, среди нашего народа, доброго и мечтательного, которого лишь скрытно действующие силы зла иногда делают вороватым, завистливым, беспричинно и бессмысленно жестоким, ленивым до озверения, лживым и даже глупым? Да кого там только нет! Все практически население федерации, а также большей части существующего в русских умах мира представлено здесь отдельными вымышленными персонажами, достойными пристального и доброжелательного читательского внимания.

Вот, к примеру, стоит со своим пластмассовым стаканчиком, наполненным невидимой жидкостью, Илья Кузнецов, бывший советский человек, ныне гражданин государства Израиль, проживающий в Москве без регистрации. Он немолод. Серая бахрома давно не стриженных и потому ломких волос свисает с границ его неровной головы, очки с толстыми захватанными стеклами сидят косо на большом и наклонном носу, в целом же выглядит он счастливым. Он видел свет, он прошел его из конца в конец, а поскольку наша голубая планета имеет форму приблизительного шара, которому конца фактически нет, то Кузнецов Илья Павлович сделал еще пару кругов лишних, после чего полностью и окончательно решил: жить надо там, где родился. Пусть наследственная природа и общественные отношения выталкивают тебя в бессрочное странствие, пусть ты Агасфер, вечный, извините, жид, и гонит тебя судьба бродяжничать — плюнь на судьбу, переживи обиды, прости обидчиков и вернись.

Ну, он и вернулся, стоит себе, выпивает, не волнуясь ни о ночлеге, ни о завтрашнем пропитании, достойно несет высокое звание столичного бомжа.

А по соседству устроился с пивом и останками шаурмы Игорь Алексеевич Капец, психбольной, недавно отпущенный из стационара в стадии значительного улучшения.

Большой жизненный, боевой и трудовой путь прошел Капец И.А., прежде чем сде-

лался сумасшедшим и пристал под вечер к ларьку с восточной едой. Много воевал с афганским и чеченским народами за их счастье, дослужился до подполковника наших непобедимых воздушно-десантных войск, дембельнулся по ранению с почетом и соответствующей выслуге лет пенсией, нашел непыльную работу в частном охранном предприятии «Три богатыря М», именно такую работу, формула которой «сутки-трое» выражает вековые чаяния и мечты его земляков о покое и воле...

И, казалось бы, живи, Игорь Алексеич, отдыхай в своей приличной комнате рядом с неплохими соседями из абхазских беженцев, радуйся! Как бы не так. Ищет человек приключений на свою уже много чего испытывавшую жопу, особенно наш человек, русский, что отмечал — ну, другими словами — в ряде своих произведений еще писатель Достоевский. Писателя этого мы здесь зря упомянули, потому что с ним как заведешься, так и завязнешь, он про нас много такого написал, что лучше бы не знать никому. Что же касается Игоря, то его скрутила любовь. Так добро бы красавица какая-нибудь, вроде певицы Аллегровой Ирины, а то ведь сущая лягушка с виду, ей-богу! К тому же иностранка и, не поверите, настоящая принцесса... Ну, в общем, долго рассказывать. А факт тот, что она его бросила, понятное дело, у него же от этого полностью отъехала крыша, забрала его «скорая» с сиреной, в дурке его полечили аминазином, от которого лицо делается полное и блед-

ное, после чего выпустили. Теперь, как только начинает утомленное солнце тихо прощаться с еще более утомленной землей, Капец берет направление на северо-запад, идет прочь из города — туда, где бушует в небе закат и на фоне этого абстракционизма летают с помощью легких приспособлений беспечные люди-парапланеристы. Ему кажется, что туда, в небо вознеслась его любимая, действительно в свое время отбившая из РФ специальным рейсом скандинавской авиакомпании, как положено принцессе, хотя бы и лягушке. Да, странная была история, любой умом двинется... И вот он стремится за нею, надеясь когда-нибудь упрямить хозяина парапланеров, тоже, между прочим, хранящего в гардеробе голубой берет, дать в честь вечной боевой дружбы один бесплатный полет бывшему брату-десантнику, сорок прыжков. Он идет, по-больничному коротко стриженный, обросший поверх отечных щек светлой щетиной, в смешных молодежных штанах с карманами и узкой майке. Ничто не остановит его — только ненадолго ларьки у метро, где сегодня назначена у Игоря Алексеича встреча с другом.

Друг, Коля Профосов, находится тут же со своим пивом. Прежде являлся Профосов Николай Петрович работником правоохранительных органов, конкретно инспектором ГАИ (ГИБДД), стоял в звании старшего лейтенанта и в светящейся лунно-молочным светом амуниции на важнейшей правительственной трассе. Среди товарищей

пользовался, когда надо, заслуженным авторитетом, с рядовых водителей лишнего не брал, управлявшим спецтранспортом во время отдавал офицерскую честь — словом, шло все путем.

Как вдруг произошел с инспектором Профосовым странный и необъяснимый случай.

Вообще-то с инспекторами дорожного движения нередко происходят разные случаи. То вдруг ограбят какого-нибудь бедолагу, у которого и всей-то зарплаты тысяч шесть выходит чистыми, а эти суки выгребут из карманов две штуки американских, тысяч пятнадцать с небольшим отечественных и ключи от новенькой «вектры», только что купленной, — носил при себе человек все нажитое и последнего лишился... Другой не успеет выпить с холоду после дежурства в ближнем дружественном баре буквально одну рюмку, как привяжутся к нему какие-то отморозки, и придется ему применить табельное на поражение в связи с создавшейся угрозой жизни, а прокурору потом иди доказывай... Третий вообще погорит чисто на беспределе — тормознет помощника депутата, а тот, спяну-то, бейсбольной битой прямо по высокой фуражке, суд же признает, что помощник — совершенно, конечно, трезвый — действовал в пределах обороны себя, поскольку принял инспектора в форме и при жезле за обычного бандита, и хорошо еще, если после этого пострадавшему хранителю безопасности дорожного движения больничные оплатят...

В общем, чего только не бывает. Но с Колей Профосовым, мало пьющим, сильно любящим семью из жены и двух дочек и вообще нормальным мужиком, случай произошел, из ряда выходящий вообще вон: на особо охраняемой трассе он увидал полную машину мертвецов.

Именно так, вы не ошиблись — мертвые люди промчались мимо старшего лейтенанта Профосова, мертвый человек сидел за рулем старенького «пассата»-сарая, и, словно для того, чтобы окончательно Колю свести с ума, один из подлых покойников, пролетая мимо, зафигачил в офицера своим черепом! А? Короче, чума. Тогда по всей Москве про эту машину народ говорил, многие от нее пострадали. Некоторые считали, что это чеченов дело, другие — что обычные разборки идут между пацанами, но, конечно, терпеть на ответственном направлении такого сотрудника, который призраков видит, начальство не стало. Хотя, ведь если по-честному, где же еще и ездить жмурам, как не по Рублевке? Однако по-честному никто у нас не судит, довели страну. Так что Николая по нервам комиссовали, и пошел он в «Три богатыря М», где собрались, как водится, сплошь бывшие погоны, там и подружился с Игорем. А когда у того в голове тоже сделалась беда, очень стал ему сочувствовать, по себе знал, каково это — ходить в дураках со справкой. И теперь время от времени работник частного охранного предприятия Николай Профосов и временно неработа-

ющий москвич Игорь Капец встречаются, пьют — молча или беседуя о современности — пиво и опять расстаются надолго. Но перед прощальным рукопожатием Коля обязательно засовывает в карман Игоревых штанов сотни три, а то и пятихатничек. Игорь от этого тихо вздыхает и кивает неопределенно, куда-то в сторону, а сам благодворящий тоже в сторону неразборчиво говорит «отдашь, как будут». На том и расходятся, условившись, что Игорь обязательно позвонит.

Да, грустно. А что поделаешь? Жизнь идет, не разбирая дороги. Как ломанулась она напрямик лет пятнадцать назад, так и шпарит, только трещат кости тех, кто зазевался, кто тормозит, кто скорость не держит. Сидишь вот так, сочиняешь небывлицы... Вроде бы все правильно придумал — и факты, и соответствующие им измышления. Слова все извлек, откуда следует, из неприкосновенного запаса, остававшегося без всякого применения еще с культурных древних времен. Крышка не вздулась, вроде бы не припахивает — свежее все, запылилось только. Чувства натуральные, натуральной не бывает, того и гляди, сам слезу сронишь... В общем, стараешься. А жизнь-то сзади подкрадется да как даст по плечи — эй, ты, чайник, кончай электричество тратить, выключай свою японскую машину да иди полезным чем-нибудь займись! Кому они нужны, твои буквы? Откинись уж скоро, а все придуриваешься. Хрен тебе, а не бессмертие, понял? И критики, хоть

и сами такие же шибанутые, правы: не дано. Завязывай.

Можно, правда, послать ее, жизнь эту, с ее жлобскими наставлениями.

Только ведь, если ты ее пошлешь, ей насрать, а вот если она тебя пошлет — заплачешься.

Вот и думай.

А возле ларьков между тем народу прибыло. Там уже, кроме знакомых нам товарищей, отдыхают и другие граждане, которых мы чисто визуально определяем как москвичей и гостей столицы.

Есть, например, среди них люди с черными волосами и смуглыми лицами, в купленных поблизости недорогих спортивных брюках и кожаных жилетках, говорящие между собой на древнем языке, похожем на сухой кашель. В их говоре слышится что-то знакомое много странствовавшему Илье Кузнецову, точнее, даже не слышится, а видится, будто от шуршания этой речи меняется окружающий пейзаж, песчаные холмы подступают, шевелясь под ровным и сильным ветром, злое белое солнце жжет глаза, и, колеблясь, тянется по горизонту зубчатая ленточка каравана... Смуглых людей все называют чурками, чурбанами или даже талибами, но без злобы, поскольку реально считают их безвредными таджиками и не боятся. Таджики — а это они и есть — остались в здешних краях от одной большой и уже давно безуспешно закончившейся стройки элитного жилья. Строительная компания обанкротилась, то есть накрылась крыш-

кой, даже не вывезя привлеченную рабочую силу, и с тех пор по окрестностям бродят эти самые таджики в жилетках, молдаване в рваных пиджаках и фетровых советских шляпах, аккуратные украинцы в приличной одежде и даже армяне с золотыми перстнями на толстых пальцах. Время от времени они подходят к первым попавшимся мужчинам с вопросом «хозяин, бригада не нужна?», но большую часть времени проводят, стоя возле пластмассовой доски ларька с шаурмой в одной руке и водой «севен ап» в другой, тихо и непрерывно беседуя между собой.

Еще здесь крутится отвязная молодежь в бейсболках, широких рубашках и еще более широких штанах с мотней у самых колен. Многие из них держат под мышками доски с колесами, предназначенные для катания по лестницам, бордюрам, спинкам скамеек и другим привлекательным местам, почти все качают головами в так неслышной музыке, проникающей в их мозги из электрических ушных затычек, громко говорят друг другу слова «по приколу!» и «отстой!», пьют не «Очаковское» из пластика, а седьмую «Балтику» или еще что подороже — в общем, тоже отдыхают. Налетают они стаяй и ненадолго, стаяй же и исчезают, и уже грохочут колеса их досок где-то вдали, в неизвестном будущем, в новой и непостижимой действительности, где нет нам с вами ни места, ни времени.

А возле ларьков остается постоянный ограниченный контингент, среди которого

выделяется, вон она, пара тоже молодых и современных, но совсем другого рода — оба в грязных кожаных куртках с косыми застежками-молниями, в еще более грязных коротко подвернутых джинсах и совсем уж невообразимо грязных военных ботинках со шнурками. Голова девушки покрыта кло-чьями зеленых и розовых волос, а среди потеков на лице можно рассмотреть только совершенно заплывшие в синяках глаза и разбитые в засохшую кровь губы. У юноши прическа состоит из бритого спереди узкого черепа и жидкой косицы на затылке, фингал же под глазом, как и полагается мужчине, один куда больше, чем все вместе взятые девичьи. Пара безнадежно сшибает у прохожих мелкое подаяние. Оба тяжело пьяны, точнее, отравлены какой-то алко-гольной дрянью и стоят на ногах неуверенно, будто на скользком. Это местные панки, очень похожие на местных же бездомных собак.

Впрочем, имеются здесь и еще более экзотические представители прилارечной фауны. Хотя бы взять вот этого, в голубом женском пальто и распавшихся кроссовках, разносчика чесотки и острого океанского запаха — обычный, даже типичный бомжи-ла. Только негр. Седая курчавая борода растет из черных, изрытых шрамами щек, седые курчавые волосы генеральской пап-хой стоят над головой. Не узнает его наш друг Илья Кузнецов, подводит старика па-мять. Да и кто бы узнал в этом страшном чу-челе жесткого, как боевая оружейная пру-

жина, молодого афроамериканца с крашеными в желтый по моде цвет короткими кудрями, мусульманина по моде же, который несколько лет назад на нью-йоркской улице обругал пожилого еврея злыми антисемитскими словами? Но это было, было! Только повернулась жизнь по-новому, непоправимое вращение Земли изменило судьбу, и вот уж едет гордый гражданин Соединенных Штатов в дикую, но многообещающую Раша на легкие заработки. Здесь он немедленно обращается из афроамериканца в обычного московского негра, несколько времени служит в известном ресторане «Быкофф», нанявшем, как теперь многие делают, черножопого швейцаром, потом по дури теряет этот дефицитный заработок, обращается в нормального бомжа и вот адресуется сейчас к некогда униженному им Илье Павловичу с лишенной малейшего акцента такой просьбой: «Добей на пузырь, командир!»

Ах, что же это случилось с миром! С ума сойти... А с другой стороны — да ничего особенного не случилось. Ну, в том же Нью-Йорке или Париже каком-нибудь удивил бы вас нищий бродяга-негр? Нисколько. Так чем же Москва-то наша хуже? Ничем. Вот, собственно, и все, и нечего охать.

И старуху такую, какая здесь всегда находится на своем месте, у самого краешка пластмассовой доски, употребляя в небольших, но частых дозах исключительно водку наиболее популярной народной марки, тоже можно увидеть в любой мировой столице. И там такие старухи сильно пьют, разве

что не водку, а собственные национальные яды. И там удивляют наблюдателя необъяснимо чистой для бездомных существ одеждой, а также истлевающей ввиду полного физического износа, но несомненной красотой лица и невесть как сохранившимися в полувековом алкоголизме отличными манерами. И там они говорят по-французски, только их франсэ урожденный, а здешняя Анна Семеновна Балконская (в девичестве Свиньина, по ларечному же прозвищу Мадам) овладела языком, на котором в пьяном полусне читает сама себе стихи благодаря домашнему воспитанию и советской спецшколе в Спасо-Песковском переулке, знаете эту школу, не с'па? И там числятся они мертвыми или «безвестно отсутствующими» — о, сколько горькой поэзии в этом судебном определении! Вот и Анечка Балконская прожила неплохую жизнь, всем была — девочкой из хорошей семьи, юной женою-содержанкой (а потом богатой вдовой) старого партийно-художественного начальника, страстной любовницей знаменитого московского бабника, тоже давно покойного, разочарованной матерью талантливого балбеса... Но пришло время, явились люди с новыми, светлыми и чистыми глазами, задурили бедной бабке голову, все забрали, квартиру шикарную на себя переписали, а ее похоронили. Именно так: похоронили, и даже с кремацией на всякий случай, вопреки ее последней христианской воле. Так что она здесь мертвая стоит, что, если честно, нисколько нас не удивляет. Стоит — ну

и пусть стоит для оживления пейзажа и его полноты. У нас, как, наверное, вы заметили, против мертвых нет никакого предубеждения и ни малейшей дискриминации. Мало ли их, мертвых-то, вокруг...

В общем, выше мы нарисовали, как могли подробно, прелестную и полную света картину народной жизни, с ее тихими долгими трагедиями и бурными краткими радостями, с безумными, но удивительно здравомыслящими героями, с незыблемыми, хотя и ничтожными ценностями, картину, источающую целебную тоску и умиротворяющее отчаяние. Глядя на нее, заскучал, наверное, наш не слишком любезный — не стоит обольщаться — читатель (или зритель?), и уж готов он отложить в сторону это сочинение, раздраженно смяв страницу при захлопывании... Стойте! Погодите. Сейчас.

Уже приближается негромкий, но сильный гул, будто здесь, над вечным сейсмическим покоем, готовится внешнее землетрясение,

уже почему-то и птицы снялись с ближайших деревьев, полетели черными стаями на фоне апельсинового солнца, радуя режиссера-постановщика почти хичкоковской, хотя и в цвете, красотой,

уже и в воздухе разнесся озоновый грозовой запах, словно в школьном кабинете физики, где рассыпает искры крутящаяся машина и поминают покойного беднягу Римана, павшего жертвой безответной любви к электричеству,

уже и народ что-то почувствовал, ощутил в эфире, напрягся, подтянулся, как подтягиваются перед утренним построением и проверкой подворотничков запуганные учебкой салаги...

Первым подвалил джип, сплошь, вместе со стеклами, черный и похожий на полированный гранит, самовольно уехавший с бандитской могилы. Тихо приоткрылась толстая тяжелая дверь, возник человек в черном широком костюме и черных узких очках — это вам уже не дедушка Хичкок, тут Тарантино отдыхает. Что-то неслышно говоря в невидимый микрофон, поправляя спиральный провод за ухом, приглаживая вместительную левую пройму пиджака, ведя наблюдение в выделенном секторе, двинулся черный человек к ларькам, а из двери уже выдавился и второй точно такой же, и третий возник за ним, и четвертый, и каждый контролировал свой выделенный сектор, и пиджаки на всех слегка съезжали на левую выпуклую сторону, и если бы собравшиеся у шаурмы простые люди имели достаточно плотную культурную подкладку, были склонны к рефлексии вообще и к дежавю в частности, то они обязательно почувствовали бы себя (как почувствовал автор) внутри до последней светотени знакомого кинокадра. Но народ здесь стоял, как уже было сказано, простой и житейски приземленный, так что подумали они все бесхитростно: «Братки приехали».

Меж тем прибывшие заняли предусмотренную инструкцией оборону, и, пока пер-

вый из них совершал ровными шагами короткий путь до ближайшего — то есть облюбованного нами — ларька, подъехало охраняемое лицо. Лица, разумеется, никакого не было видно, лишь продолговатая, округлая, гладкая, тяжелозадаая черная машина остановилась позади и чуть левее джипа. Машина эта тоже походила на самобеглое, только лежа, богатое надгробие. И наконец, пришвартовался, резко сбросив скорость, еще один автобусных размеров джип, но не траурный, а веселеньких серебристо-синих милицейских цветов с соответствующей надписью на борту, с трехцветным государственным огнем и частыми саженцами антенн на крыше. Из милицейского джипа тоже никто не вышел, просто он встал позади сопровождаемого транспортного средства и еще немного левее, создав, таким образом, своим ментовским авторитетом безопасную от мелкой проезжей лоховни зону.

За описанные несколько секунд почти все участники мизансцены перестали есть шаурму и пить что бы то ни было, причем многие остались с зафиксированными в момент жевания слегка открытыми и полными пищи ртами, другие же — например, таджики — сделали судорожный глоток, чтобы встретить судьбу в возможной готовности и едой не рисковать. Одна Анна Семеновна не обратила на явление элиты народу ровно никакого внимания, поскольку была занята употреблением очередного полтинничка крепкой, воображая себя при этом красавицей молодою, одиноко сидящей в буфете

творческого дома (как сиживала в свое время, сиживала...), и бормоча по привычке французские стихи — что-то из *Les Fleurs du mal*.

Так прошло еще мгновение, на излете которого первый человек в черном достиг наконец окна с шаурмой. Тут же немая сцена кончилась, возобновился общий негромкий гомон, жевавшие продолжили процесс, пившие пропустили жидкости по пищеводам — в общем, все сделали вид, что дальнейшее их не интересует.

— Сколько брать? — спросил черный человек через невидимый микрофон у невидимого своего повелителя и, глядя перед собой без всякого выражения, выслушал краткий ответ. — Давай две, — обратился он после этого к раздатчику шаурмы, сохраняя все то же спокойное внимание в светлых серьезных глазах и во всем гладком твердом лице.

В этом месте нашего рассказа отдадим, пока не поздно, должное представителю мелкого бизнеса, которого нам очень хочется назвать шаурмахером, да так мы его и назовем, пренебрегши вашими вероятными протестами... итак, шаурмахер: он вовсе не проявил ни изумления, ни испуга, которые были бы, согласитесь, естественной реакцией на появление такого покупателя-посредника. Напротив — продавец восточного фаст-фуда с полнейшей выдержкой принялся состругивать мясо с огромного опрокинутого мясного конуса и набивать стружками два лавашных кулька, пихать туда же ре-

заный лук, поливать соусом, готовые изделия заворачивать в тонкую бумагу — словом, проявил высокий, свойственный многим представителям нашего растущего мелкого бизнеса профессионализм.

Тем временем покупатель, как водится среди покупателей, полез в карман, вынул бумажник и протянул в окно деньги за товар. Деньги эти представляли собой хрусткую плотную бумагу, новенькую и гладкую, зеленого цвета, с изображениями достопримечательностей города Ярославля и четырьмя цифрами: 1000.

Ах, знать бы, как все сложится дальше! Ну, разменял бы парень эту штуку еще с утра, и расплатился бы скромными сотнями, и все обошлось бы... Увы, никто не провидит будущего. Одна только безошибочная наша страна его определяет, предначертывая своим подданным и обитателям, одна она решает, как нам жить — на воле разъезжать в хороших автомобилях или, наоборот, находиться в следственном изоляторе, знакомясь с томами своего дела, будто дела наши могут быть известны нам. В ее руке мы, в твердой, но безошибочно справедливой руке, и не скрыться от нее за темными стеклами, не надейтесь, господа! Не выйдет.

Вот так.

А возле шаурмы начало происходить, собственно, основное действие нашего рассказа.

Сдачи у продавца, естественно, не нашлось, извини, брат, нету сдачи.

У второго охранника были доллары, бумажками по сто, но с такими купюрами, уж совершенно очевидно, возле гадючника и вовсе нечего делать. Только получить в торец здесь можно с такими купюрами и, придя в сознание, обнаружить, что находишься в ближайшей ментовке, в обезьяннике, пристегнутым наручниками к решетке, денег при тебе нет совершенно никаких, а составляют на тебя, наоборот, протокол за сопротивление работникам милиции при исполнении ими тяжелых их служебных обязанностей. Ну, мастеру секьюрити и специалисту сугубо восточных единоборств такой исход, разумеется, не грозил, но все равно зря он здесь баксами тряс.

Третий из компании бегом смотался к длинной машине хозяина за указаниями. После недолгого монолога, произнесенного им в невидимый микрофон, а по виду — в воздух, правое заднее стекло, сверкнув черным бриллиантом, поехало вниз, из сумрачной пустоты внутреннего машинного пространства бледная небольшая рука выставила крупноформатный плоский бумажник, и третий, осторожно неся этот карманный банк, так же бегом двинулся по шаурму. Однако и он потерпел полное фетяско, как говаривал в те еще времена один работник партийной печати: вынутые им из хозяйского бумажника и предложенные шаурмейстеру (вот и еще одно слово, и тоже ведь неплохое, а?!) пластиковые прямоугольники один за другим были отвергнуты. Не принимающимися к оплате в паршивом ларьке

оказались «Американский экспресс», «Карта мастера», «Еврокарта» и все остальные платежные средства любых возможных оттенков — не то что золотого, но и благороднейшего платинового. Ну, пойми, брат, где я их катать буду, в рот, извини, себе я их вставляю и катать буду?

В общем, сделка — покупка недорогой, но доброкачественной еды — явно срывалась. А у того, кто ее затеял, сделки никогда прежде не срывались. И поэтому он решил сам вступить в игру на таком ответственном ее этапе. Что делать, если ничего никому нельзя поручить?

Главного героя этой нашей истории (да и, будем до конца откровенны, вообще героя этого нашего времени) звали и зовут по сей день Петром Павловичем. Его биографию пересказывать в подробностях мы не станем, поскольку благодаря средствам безгранично массовой информации она и так всем известна: комсомол, кооператив, бескорыстный вклад в окончательную победу демократии, свойственная этой демократии неблагодарность вплоть до уголовного преследования, победа справедливости и, наконец, «Вестинвест», гордое имя «олигарх», список ста... Словом, Петр Павлович, этим все сказано. И вы про этого человека знаете не меньше, чем мы, а больше только прокуратура знает, ей положено, нам же и этого хватит.

В тот роковой вечер Петр Павлович ехал с небольшой деловой встречи, состоявшейся в закрытом клубе «Вестинвеста», извест-

ном в народе под названием «Петропавловка» — в честь владельца и башни со шпилем, украшающей клубное здание. Народное это прозвище могло, конечно, суеверного человека подтолкнуть к нежелательным ассоциациям, но сам только посмеивался: мол, если я и так в крепости сижу, куда ж меня дальше сажать? Шутки в этой среде вообще, должен я вам сказать, ходят мрачные...

Так вот: ехал Петр Павлович после легкого ужина с рыбой и правильным итальянским белым, как вдруг ему ужасно захотелось есть. Он, слотнув голодную слюну, представил себе сначала бутерброд с варено-копченой колбасой «Одесская» и полстакана водки «Пшеничная» времен ранней стройотрядовской юности, но этой галлюцинацией его вообще-то вполне управляемое воображение не ограничилось, а принялось беспорядочно воспроизводить другие столь же привлекательные натюрморты. Появились из детства микояновские котлеты, продававшиеся по двенадцать копеек в кулинарии на Горького, и кипучий напиток «Буратино»; возникли из буйного перестроечного прошлого свежезаваренные пельмени, часть из которых, прохуdivшись, разделилась в тарелке на серый обнаженный фарш и столь же серые тряпочки пустого теста, а при пельменях образовался и ловко разведенный пополам спирт «Рояль»; мелькнул миражом цивилизации первый биг-мак, съеденный под еще непривычный и гипнотически привлекательный виски; проскользнула по периферии сознания

фиш-н-чипс первой нищенской лондонской поездки, оказавшаяся жареной треской с картошкой, и от липкого глотка гиннеса дернулся вверх-вниз кадык... Словом, организм Петра Павловича, изощренный за последнее десятилетие дорогой едой, потребовал простой человеческой пищи, которая теперь называется некрасивыми на русский слух словами «фаст-фуд».

Далее и произошло все, что произошло. Команда была передана в головную машину, охрана просчитала нештатную ситуацию и, как только визуальная разведка обнаружила подходящий объект, приступила к выполнению приказа. Однако тут выявилось препятствие непредвиденного характера, и, так как решение о применении силовых действий принято не было, операция непозволительным образом затормозилась — впрочем, это уже описано.

Петр Павлович сидел в машине и смотрел на окружающую действительность сквозь глухо тонированное стекло.

Такой взгляд, следует заметить, всегда окрашен некоторым пессимизмом: погода кажется еще более пасмурной, чем есть на самом деле, человеческие лица представляются еще более бледными, чем они существуют в реальной жизни, пейзаж видится еще более тоскливым, чем тот, что присущ здешним местам... Возможно, именно из-за тонированных стекол и не приживается либеральная, мать бы ее, идея на нашей вообще-то плодородной почве, очень может быть, что именно из-за них носители этой

идеи так страшно далеки от народа и VIP-круг их так узок, что называют они свою родину «этой страной»...

В общем, тяжело сделалось на душе у Петра Павловича, дурные предощущения сдавили грудь под легким, вроде бы по мерке сшитым пиджаком, пустота поползла из подреберья к сердцу, пустота страха. Нахлынет такая пустота, доберется до груди, прервет вдох — и нет человека.

Но когда темное стекло сдвинулось вниз, открыв ненадолго истинное, окрашенное вечернею зарею положение вещей, немного полегчало бедняге, золото, лазурь и дымка предзакатного времени примирили его с постоянным местом жительства. А отказ ларечника принять пластиковые карточки лучших мировых систем даже вызвал гордость: в каком-нибудь Тунисе или на Бали каком-нибудь подателю платиновой «Визы» все даром отдали бы в надежде на будущую благосклонность, а наш гордый и широкий человек не смирился, и не сузишь его — на болте он видал любое богатство, и все равны пред отсутствием сдачи.

Петр Павлович, не дожидаясь помощи холуев, отжал тяжелую, бронированную по высшему классу защиты дверь и ступил на родную землю. Давно уж не ходил он таким непосредственным образом, чувствуя, как вливается природная сила сквозь подошвы сшитых миланским умельцем ботинок и носочный шелк, давно не стоял так уверенно на своих ногах. И, воодушевленный долгожданной близостью к истокам, он быстрой,

даже несколько суетливой, хотя и нетвердой походкой постоянного пассажира заднего автомобильного сиденья приблизился к шаурме.

Народ безмолвствовал — в том смысле, что все продолжали пить и есть, совершенно забив на вновь прибывшего господина.

— Вот, — сказал олигарх, вытаскивая из кармана монету и с легким стуком кладя ее на не совсем чистый прилавок, — неразменный. Две шаурмы и пива банку, холодное есть? Сдачи не надо.

Только и всего.

В смысле — ничего себе.

И что же вы думаете, небо упало на землю? Или хотя бы люди пали на лица свои перед чудом? Или хотя бы пукнул кто-нибудь от удивления? Или хозяин торговой точки схватил монету — и деру?

Да ни в коем случае. Плохо вы знаете отечество и народ свой, если предполагаете, что здесь чудес не видали. Видали, видали, и даже можем сказать, на чем именно вместе со всякими чудотворцами видали! Собственно, уже сказали... Не удивишь нас ничем и не покоришь, и никогда не будут здесь действовать проклятые ваши законы экономического принуждения, и во веки веков мы будем ложить на ваши деньги, и ложить, и ложить, и ложить, и пусть стелется под копыта золотого тельца навеки напуганная бычьей силой Европа, старая истеричная дура, не зря ей уж давно предсказан звездеч, и пусть молится на линялую зелень толстый американец, пусть утверждает, что в Бога

он верит, нас не обманешь, знаем мы, во что он верит и куда палец засунул, блин! А мы будем ласково баюкать нашу маленькую, нашу беззащитную, нашу агукающую и пускающую слюнные пузыри духовность, растить нашу тощенькую, головой склоняющуюся до самого тыну соборность, торить наш проселочный, ширококолейный, непроезжий без трактора третий путь.

И тьфу на вас.

Короче.

Шаурмист вполне спокойно и не торопясь подковырнул выпуклым и толстым ногтем монету, оторвал ее от липкой поверхности и поднес для рассмотрения близко к своему давно бритому и оттого имеющему выраженный синий цвет лицу. Поднеся, он убедился, что рассматривать совершенно нечего: монета была обыкновеннейшим советским пятаком образца 1961 года, грязным и никчемным на вид. С одной ее стороны, обычно называвшейся решкой, хотя никакой решетки там давным-давно не бывало, фабрика Гознак выдавила крупную цифру «5», мелкое слово «копеек» и какие-то ничтожные веточки для красоты, с другой гордо круглился герб величайшей державы, оплота мира и социализма, слегка вспухал, словно от комариного укуса, земной шар, вились ленты, шумели спелые колосья, грозили врагам, цепляясь друг за друга, серп с молотом и пятиконечная солдатская звездочка, а по ребру шли мелкой стершейся шестеренкой, как положено, насечки. Словом, пятак.

— По курсу возьму, — сказал продавец негромко и положил монету туда, откуда взял, в центр пивного пятна на прилавке.

— Так ведь неразменный же, — возразил покупатель, подковыривая в свою очередь пятак скромным маникюром и поднося к своему безукоризненно чистому еще после утренней работы визажиста лицу. Тут же пятак заиграл совершенно другими красками: пошел тусклым квотированным блеском редких металлов, подернулся радужной мазутной пленкой, загорелся бледным газовым огоньком, и нефтяная качалка, похожая на игрушечного заводного петушка, стала поклевывать земной шарик в центре герба, и цифра «5» плавно изогнулась заветным знаком «\$» — в общем, действительно, капитал.

— По неразменному курсу и возьму, — твердо отвечал начальник шаурмы, начиная, как положено к концу сказки, преобразаться: синий мундир закона внезапно окутал его поверх белой исподней рубахи мелкого бизнеса, генеральские погоны (но пока с майорской звездой) легли на мгновенно пошедшие круглым жиром плечи. — Так что придется все, украденное у народа, вернуть, так называемый господин Петр Павлович!

— А вот тебе хер, взяточник и коррупционер, — парировал тоже впавший, как и следовало ожидать, в сказочную стилистику грубых прибауток капиталист. — Сейчас сойдемся мы с тобою один на один в чистом правовом поле, померяемся там силами,

чиновничище поганое! Давай шаурму, пока жив! Я еду-еду, не свищу, а как наеду...

Ну, и началось.

Представитель мелкого бизнеса, необъяснимым образом сделавшийся представителем государственных интересов, занес над головою олигарха дубину народного гнева в виде мясного конуса потенциальной шаурмы.

Служба олигархической безопасности немедленно открыла огонь на поражение и действительно поразила всех тем, что совершенно не умеет стрелять, в результате чего был легко ранен лишь один прохожий, впоследствии скрывшийся из института Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Работник частного охранного предприятия Профосов Н.П. отоварил ближайшего коллегу из чуждой структуры по загрывку приспособлением, в протоколах называемым «РП», то есть резиновой палкой, не сданной после смены. От этого удара невидимый микрофон сделался видимым и улетел в далекую даль вместе с витым зашным шнуром и ушной переговорной вставкой, а сам охранный служащий клюнул вперед носом, как упомянутая нефтяная качалка, начисто тем самым своротив и нос свой об ларек со злосчастной шаурмой, и одновременно оный ларек.

Из милицейского джипа выпрыгнула полурота бойцов в дырчатых шерстяных шапках до плеч и пятнистых латах. Воины порядка залегли вокруг места действия и при-

нялись поливать действующих лиц химическим поражающим веществом, однако без особенного эффекта. Только Анна Семеновна Балконская вдруг прослезилась, вспомнив, видно, что-то свое, да сами менты принялись неудержимо чихать, страдая, вероятно, сезонной аллергией.

Тогда состоявший на учете в психоневрологическом диспансере гражданин Капец Игорь Алексеевич вдруг вернулся своими неудержимыми мыслями в какую-то из горячих, некогда отмеченных его активным присутствием точек, отнял несколько гранат у растерявшегося и заливавшегося соплями спецназа, обвязался ими и с отчаянной советской песней «Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена» пошел на штурм валявшегося на боку малого торгового предприятия.

Тем временем бывший продавец шаурмы, ныне работник надзорных органов, попытался надеть наручники на Илюшу Кузнецова, не распознав в нем гражданина государства Израиль, но принявши его в силу очевидной национальности за еще одного олигарха. В свою очередь Илья Павлович Кузнецов долго думать не стал, а мгновенно тормознул первого же бомбилу, через полчаса оказался в Шереметьеве и вылетел ближайшим рейсом неизвестно куда, но надеясь, что с возвратом — он уже твердо решил ни при каких обстоятельствах не покидать навсегда свою историческую родину Россию. Так, пересидеть где-нибудь, пока они тут все опять поделят и угомонятся...

Шаурмайор мгновенно осознал свою ошибку — как не перепутать, если отчества совпадают! — и метнулся было к Петру Павловичу. Но физически крепкий предприниматель встретил его хорошо отработанным с индивидуальным тренером (тренер преподавал богатейшим людям редкую систему единоборства, известную среди специалистов под названием «рабоче-крестьянское махалово») ударом промеж глаз, так что борец с крупным капиталом полностью потерял правосознание, отключился от связи с исполнительной властью и стал беспомощен.

Воспользовавшись этим, Петр Павлович кинулся спасать свою собственность, но пятка закатился черт его знает куда.

И пока богач ползал по асфальту в поисках неразменного личного состояния, его повязали подъехавшие из местного РОВД молодцы полковника Нерушимова.

В данном сочинении этот персонаж до сих пор не фигурировал, но вообще нашему испытанному читателю он известен. У полковника есть красавица жена Людмила, неплохой дом в ближнем Подмоскowie и квартира в тоталитарной высотке на Котельниках, что, безусловно, должно вызывать уважение: вот ведь все говорят, что органы наши живут на нищенские зарплаты, а потому вынуждены брать деньги и с честных граждан, и с криминальных структур, полковник же Нерушимов полностью опровергает эти домыслы — и живет неплохо, и честен настолько, что это даже не обсуж-

дается. Во всяком случае, в его нижебрюхановском РОВД не обсуждается никогда... А в последнее время Нерушимов стал также известен более широкой общественности — благодаря своей непримиримой гражданской и даже вооруженной позиции по борьбе с последствиями хищнической приватизации.

Так что с Петром Павловичем нерушимовские ребята особенно не церемонились, примерил все же он наручники.

А таджики, конечно, разбежались.

Молодежи на досках и след простыл, только вдаль раздавались беспечный грохот роликов и популярные матерные песни.

Пара панков отчаянно билась под лозунгами национал-анархизма, но была повержена собственным алкогольным опьянением и заснула, обнявшись, в пыльных ближних кустах.

Лицо афроамериканской национальности без определенного места жительства с холодной усмешкой предъявило милиции паспорт гражданина США, охарактеризовало всех довольно справедливо мазафакерами и продолжило попрошайничать у соседнего ларька.

Анна Семеновна ушла, как всегда ближе к вечеру, в мир иной.

Колю Профосова менты — как своего — отпустили, только пару раз по почкам усовестили, чтобы знал, на кого тянуть.

Капец продолжил свой путь на норд-вест, и никто его не задерживал, чего взять с больного, тем более, что, говорят, к нему

и сам товарищ Нерушимов хорошо относится как к ветерану.

Ну, и прибывшие автотранспортом разъехались все.

Только Петр Павлович уже который месяц содержится в двусмысленном состоянии предварительного заключения, и судьба его неясна. Во время задержания при нем был обнаружен контрольный пакет в газетной бумаге, содержимое этого пакета теперь исследуют эксперты. Некоторые из них считают, что в пакете лежат просто давно не имеющие хождения монеты советского образца, другие склоняются к тому, что найдены настоящие неразменные пятаки, а потому их владельцу следует предъявить обвинение в волшебстве, чернокнижии, умышленном сглазе, уклонении от уплаты налогов с означенных пятаков и попытке отмыывания суммы в 5 (пять) копеек путем погружения ее в пролитое неизвестными пиво с целью дальнейшей покупки спецшаурмы. В связи с этим продавцу шаурмы секретным указом присвоено очередное воинское звание шаурманфюрера (шаурмаршала). Суд все откладывается, пока Петр Павлович читает том за томом полное академическое издание своего уголовного дела...

И что будет – никто не знает.

Ах, деньги, будь они прокляты!

Деньги.

Деньги.

Деньги.

Неужели мы-то с вами так никогда и не разбогатеем? Обидно. Кругом-то ведь буквально все, боже мой! А мы? Ё-моё...

Деньги. Да.

Чего только про них не говорят — и счастье, мол, не в них, и здоровье за них не купишь... Чушь все это. Пойдем от противного, как говорят ученые, даже от очень противного: предположим, что денег у вас нет. Ну, и как? Денег нет, за свет не плачено, а счастье есть? Или, допустим, вы заболели, не дай бог, конечно. Ну, хорошо болеть без денег? Сестре за укол, лекарства стоят немаленько, с работы звонить перестали — больных теперь хоть и жалеют, но не любят...

Деньги. Деньги. Деньги.:

ДВА НА ТРИ

А когда вновь наступила ночь, в очереди устроили перекличку.

Луна взошла над городом, сон спустился к праведным и грешным; к мужчинам и женщинам, к старым и молодым, все затихло под прекрасноликой луною, и даже собаки умолкли в посланной Всемогущим ночи.

Лишь у магазина №9 «Ковры и ковровые изделия» нижебрюхановского райторга перекликались несчастные ловцы дефицита, которых в те древние времена немало было в удивительном городе Москве, да продлится его благоденствие вовеки.

Давно это было, еще Всеведущий и Всемиловитый и не думал орошать нашу святую землю живой влагой рыночной экономики, а экономика плановая — велик Великий и таинственны тайны Его! — еще терзала мирных жителей неурожаями носков, бритвенных лезвий, постельного белья, бюстгалтеров, толстых журналов, мебельных стенок румынского производства, кассетных магнитофонов «Весна» и других вещей, необ-

ходимых смертным. Среди которых не забудем назвать ковры и ковровые изделия.

И вот собрались люди с вечера возле магазина №9, чтобы утром, когда откроется чудесный этот магазин, быть первыми, словно коммунисты на расстрел, и купить себе ковров и ковровых изделий столько, сколько даст Непостижимый, да будет милосердие Его, в одни руки. Но проходила ночь за ночью, и прошли тысяча и одна ночь, а ковров все не было, и уж готовы были возроптать люди против Центрального и Ленинского...

Короче, хватит конопатить муму. Потому что так, через шахерезаду, можно долго тянуть резину, а дело-то простое: в 1975 году ковров было не достать, ни шерстяных производства Ленинанканского ордена Знак Почета коврового комбината, ни гэдээровских из натурального лавсана. Поэтому писались в очередь с ночи на всякий случай, а утром на грязные двери маленькой и всегда пустой торговой точки продавец приклеивал вечную надпись «Сегодня дешевых ковров не будет», и население спокойно расходилось по домам, чтобы, удачно позавтракав сосиской в целлофане, ехать на производство. А в продаже оставались исключительно недоступные в связи с заоблачными ценами чисто импортные ковры устаревшей ручной работы — голубые из догматического, будь он неладен, Китая и мелкоразноцветные из Ирана, вроде бы страдающего под игмом проамериканского шахского режима. Однако за такие деньги

пусть эту красоту себе на стенку шах и пове-
сит, ковер почти как «Жигули» стоит, с ума
сойти.

Теперь, когда любая дрянь, даже такая,
которая вообще никому не нужна, продает-
ся везде и в каких угодно количествах, ког-
да не то что ковров хоть чем попало ешь,
но и ковровых покрытий, ковролинов
и всяких паласов на любой строительной
ярмарке до этой матери и больше, — те-
перь уж нам не понять былых страстей.
Как могли нормальные человеческие суще-
ства проводить ночи своей единственной
и столь краткой жизни на темной и проду-
ваемой холодным ветром улице, перед пар-
шивым помещением с зарешеченными от
преступных посягательств пыльными ок-
нами? Неужто так нужны им были тканые
на железных машинах толстые пылесоби-
рающие тряпки по триста рублей штука?
Или, на худой конец, красные с черно-жел-
той каймой дорожки по восемьдесят руб-
лей погонный метр, которые лежали обыч-
но в конторских коридорах, укрытые гряз-
ными лентами сурового полотна, будучи
же положенными в домашних условиях, на-
вевали почему-то мысли о смерти и похो-
ронах...

Значит, были нужны. Человека хрен пой-
мешь, потребности его обширны и причуд-
ливы. А что Центральный Комитет Комму-
нистической Партии Советского Союза
и его Ленинское Политбюро во главе с раз-
ными старыми мудаками значение этих по-
требностей недооценивали и потому в кон-

це концов накрылись сами знаете чем, уже давно стало общим местом в публицистических рассуждениях на темы новейшей истории нашей страны и всего мира в целом. Вот так, товарищи. Вот так.

Ночь и тьма, и дует ветер в ночной тьме, и все мы — словно дуновение ветра, пришли и ушли. Сетовать ли человеку на участь свою, переменчивую, краткую и бесследную? Но разве не тем хороша жизнь, что уходит мгновенно, исчезает навсегда? Ночь эта сгинет в мерцанье рассветном, ветер утихнет, и только душа будет полна этой ночью и ветром, что пролетает, утихнуть спеша...

Ну, ладно.

Между прочим, в очереди той и многие наши хорошие знакомые отмечались.

Например, пожалуйста: Иванов. Жил когда-то в Москве такой парень, большой умелец по лирической части — передрал, проще говоря, всю столицу и многие пригороды. Числился при этом на какой-то непыльной работе, но в основном постоянно ошивался по всяким кухням в компании лиц сомнительного морально-политического облика. Маскировал свою чисто половую неразборчивость под тягу к культуре — словом, быстрыми шагами приближался к той роковой черте, переступив которую вскоре откровенно встал на антиобщественный путь, огреб три года, вышел условно через полтора, да тут же нелепо и погиб в гостях у последней своей пассии, супруги, между прочим, большого человека: то-

ком убило, надо же! Все бывало, и карающая рука неумолимого Комитета нашей Государственной общей Безопасности иногда дотягивалась до кого следует даже в виде искрящего и пахнущего свежестью электрического разряда, это известно. Или, допустим, случайного грузовика. Или кирпича с неба. Как верно говорится в народе, тяжело пожатье каменной его десницы... Впрочем, это все произошло гораздо раньше. А сейчас Иванов, уже явившись посмертно, в качестве призрака, как это часто случается с грешниками, настигнутыми насильственной смертью, пишется за коврами. При этом он почти вслух и огульно критикует за их отсутствие существующий общественный и государственный строй, распространяя про него заведомо ложные измышления по статье — то есть скатываясь в самую примитивную и махровую антисоветчину. А чего ему бояться, покойнику? Ему и ковер нужен только для того, чтобы повесить на стену снимавшейся им при жизни (после же смерти посещаемой ночами) однокомнатной квартиры в Бабушкине и тем самым препятствовать трудящимся соседям в слышимости ими передачи «Глядя из Лондона» про так называемую оккупацию братской Чехословакии, которую передачу, товарищи, он ловит приемником «Спидола», уже купленным в другой очереди. Советским приемником, между прочим!

Или вот: Илья Павлович Кузнецов, по национальности еврей. Спрашивается,

чего ему не сидится на социалистической родине, что ему на так называемую историческую приспичило? Уж, кажется, второй год в отказе, а все не угомонится никак. Взял себе в голову раздуваемый известными кругами западных доброжелателей (в кавычках) антисемитизм и вот давай настаивать на свободе передвижений и других сто лет не нужных истинному патриоту пресловутых правах человека. Тоже за ковром стоит, а зачем ему ковер, а? Не иначе как собирается взять эту доставшуюся — благодаря разумной политике цен, проводимой партией и правительством, — по дешевке материальную ценность с собой в мир корысти и индивидуализма, а там загнать за ихнюю твердую валюту. Потому что рубли-то не увезешь, доллары же (с ударением на «а», конечно) можно перед отъездом купить только в строго ограниченном количестве. Некоторые, говорят, получали разрешение, приобретали эту валюту да и оставляли всю в недоступном на протяжении предыдущей жизни магазине «Березка» — дотерпеть не могли... Но Илья Кузнецов не такой человек. Он серьезный отказник и готовится к встрече со свободой как следует, стоя ночью в очереди за выгодным советским ковром. И, скажем, заглядывая вперед, он достигнет желанных берегов — правда, без всякого ковра, но достигнет. И намучается там от души. И, весь мир обойдя подверженными варикозу вен ногами, повернет назад... Однако сейчас речь не об этом. Сейчас прохладой

веет ночь, прибоем шумит очередь, сказкой мерещится ковер, и Кузнецов жаждет ковра.

Кто там еще стоит? Да хотя бы женщина Терebilко Татьяна, сама с Феодосии, а до Москвы приехала именно ж по дефицит — может, утром ковра возьмет какого-нибудь или еще что... Татьяна ничем не примечательна, кроме того, что является матерью дочки Оли, впоследствии ставшей знаменитой девушкой Олесей, носящей в наше время фамилию по бывшему мужу Грунт. Девушка Олеся в короткий срок после установления новой общественной формации покорила красотой и умом решительно всю Москву, так что и вы, конечно, ее знаете. Кто ж ее не знает, если о ней даже в журнале телепрограмм пишут как о светской девушке! Однако это все случилось в существенно более поздние времена, из-за которых в нашем рассказе возникает путаница с глагольными формами, пока же будущая мать знаменитости Татьяна Терebilко мается в ночной очереди.

Еще кто? Хорошо, возьмем этого, вам прежде не представленного, а нам очень даже близко знакомого гражданина: Хвощ Леонард Сурьянович, инакомыслящий. Все понятно? То-то же. И сделайте, пожалуйста, вид, что смотрите в другую сторону, вам такие знакомые совершенно ни к чему, вам еще до перестройки дожить надо, до первого съезда народных депутатов, тогда вы ему и аплодировать будете. А? Что вы спрашиваете? Зачем такой честный человек в ковро-

вой очереди ночью стоит, вместо того чтобы своим благородным делом заниматься, то есть подрывать передовой общественный строй? Что ж, скажем, как оно есть на самом деле, — ему действительно ковер нужен. Потому что постоянно мерзнут ноги, застуженные в Потьме, а живет у знакомых художников в подвальной мастерской, там сырость, и без ковра плохо. Получил немного денег от подрывных издателей и сочувствующей мировой общественности да и приехал купить себе чуть-чуть комфорта, жить-то надо.

Вокруг же этих, которых мы успели назвать, кого еще только нет!.. Однако всех не перечислишь. Тем более, что дело уже подошло к рассвету, потом и утро настало, появилась вышеописанная табличка на дверях, так что пора расходиться.

Тут-то началась, собственно, наша история, ради которой затевалась вся эта повесть.

— Мы так всю жизнь простоим, — пробормотал, прежде чем наладиться к метро и вроде бы ни к кому не обращаясь, покойный Иванов, — а ковры все по распределителям... Просто свинство какое-то!

На провокационные слова мертвеца те, кто их расслышал, реагировали по-разному.

Ведущий паразитический образ жизни гражданин Хвощ Л.С. отошел от греха по-дальше, поскольку хорошо по собственному опыту знал, чем кончаются такие разговоры с незнакомыми людьми.

Гость столицы женщина Татьяна Терebilко, напротив, придвинулась к говорившему и немедленно задала практический вопрос — мол, а где ж те распределители есть и какая там очередь, живая или по списку.

Илья Павлович Кузнецов, диссидент по пятому пункту, только улыбнулся со свойственным его народу чувством юмора, нехватка ковров в свободной продаже ему представлялась не самой большой проблемой, так как разрешения все еще не было, и он вполне мог остаться здесь с ковром навсегда, и зачем ему тогда, спрашивается, ковер...

А оказавшаяся поблизости неизвестная женщина из Средней Азии, которая до этого времени вообще не принимала никакого участия в происходившем и потому нами не была упомянута, вдруг включилась в беседу.

Она, эта женщина, была одета так, как одевались все женщины из среднеазиатских республик, приезжавшие в столицу СССР за покупками и посмотреть на московские чудеса: в домашние тапочки на босу темную ногу, в шаровары и платье из блестящего атласа (имевшего специальное название, которое мы не помним, ну и бог с ним), а поверх платья в старый мужской бостоновый пиджак без пуговиц. Пиджак этот в туалете узбекской, например, или таджикской женщины играл особое значение и имел особую роль (кажется, наоборот? ну, не важно): в Москве и других лишенных крепких нравственных устоев местах его

надевали для тепла и для прикалывания медали «Мать-героиня», дома же носили на голове, так что свешивавшийся рукав закрывал лицо, выполняя назначение паранджи, но в то же время не подводя мужа под партийный выговор за насаждение реакционных нравов в семье — ну, пиджак и пиджак, мало ли что женщина на голове носит. И еще, возможно, стоит сообщить одну тайную подробность про наряд таких дам. Подробность состоит в том, что только нижняя, видная из-под платья часть шаровар шилась из пестрого атласа (как же он назывался?! ну, не помню, и все), а выше использовался материал типа рогожи или мешковины, удобный с гигиенической точки зрения, но очень жесткий, так что самые чувствительные части кожи подвергались серьезным испытаниям. В общем, Восток.

Однако ж мы по обыкновению отвлеклись на лишнее живописание деталей, а действие между тем продолжает развиваться.

Звали женщину, естественно, Зухрой.

Или, возможно, Зульфией.

— Такое дело, — сказала Зухра, — скидываться надо, да. Скинемся — деньги будут. Деньги будут — персидский купим. Персидский купим — улетим. Улетим, как на самолете ту сто четырнадцать, мне домой быстро надо, дети есть, муж есть, кормить надо. Скинемся — деньги будут. Деньги будут — персидский купим. Персидский купим — улетим, кому куда нужно, туда и улетим, да.

Нет, все же ее Зульфией звали.

Да, в конце концов, и не важно, как именно ее звали, а важно то, что, послушав восточную женщину буквально каких-нибудь пять минут, даже меньше, все эти разные и в целом разумные люди почему-то поверили ей и поступили именно в соответствии с ее предложением.

И каждый, как опять же говорит народ, думал о своем.

Почему люди вообще верят в сказки? Кто знает... Может, потому, что людям так Творец положил, а может, и сами они так себя устроили от тоски и страха. Разве и ты, наш читатель, да продлит Господь твои дни, не веришь в чудесную сказку, в которую когда-нибудь обязательно превратится жизнь? Разве клады, джинны и золотые рыбки, удачные вложения небольших денег в перспективную недвижимость и получение наследства от пока неведомых родственников по канадской линии вовсе не волнуют тебя? Так удивительно ли, что несколько человек, терзаемых желаниями и надеждами, поверили восточной сказочнице? Ей ведь и султаны верили, а уж султанам-то чего не хватало...

Призовем же милосердие Всемогущего.

Короче говоря, они объединили свои деньги и купили жутко дорогой иранский ковер два на три метра.

Равнодушный, но ловкий продавец свернул покупку в тяжеленный рулон, и мужчины понесли его в соседний двор, уже пустой после утреннего массового исхода на рабо-

ту. Идущие с ковром были похожи на большую гусеницу, передвигавшуюся с удивительной для гусеницы скоростью, что заставляло почти бежать следом двух женщин.

Там, во дворе, позади серого кирпичного безоконного дома, в каких обычно живут трансформаторы, они расстелили ковер на сыроватом потрескавшемся асфальте, и все взошли на пестрый ворсистый борт.

Тут же раздался тихий ропот, перешел в рев, ковер начал вырывать на взлет, рев превратился в визг, передний край слегка задрался, замелькали по сторонам дворовые пыльные кусты, незаметно оказались внизу и стремительно уменьшавшаяся песочница, и крыша того дома, где остался проклятый магазин, и коробочки пятиэтажек...

— Наш ковер выполняет рейс по маршруту Москва—Ташкент, — начала объявлять Зульфия или Зухра, — полет проходит на высоте девять тысяч метров. Продолжительность полета...

Однако не договорила, потому что сказка есть сказка, и любой из нас присочиняет к ней свой счастливый конец.

— Внимание, всем оставаться на своих местах, — неожиданно для самого себя вдруг завопил Илья Павлович Кузнецов, и трубный глас его, перекрывая свист ветра и кофровых турбин, прогремел с небес, отчего многим оставшимся на земле показалось, что приближается невозможная по сезону гроза. — Всем стоять! Я требую немедленно-

го изменения маршрута! Летим в аэропорт Бен-Гурион! Если мои требования не будут выполнены, я...

Он не стал продолжать фразу, потому что полностью ее не придумал, а перешел на язык понятных жестов: достал из кармана большие ножницы, завалившиеся там после увязывания бельевой веревкой очередной порции багажа, наклонился и пощелкал лезвиями в устрашающей близости от поверхности ковра.

Все застыли, напоминая не то исполнителей немой сцены бессмертного «Ревизора», не то персонажей широко известного по репродукциям в «Огоньке» живописного полотна, мужественно опиравшихся друг на друга перед казнью. Лишь воздух пролетал навстречу небесным странникам с неприятным звуком, да время от времени лица их скрывались в рваной, влажной и душной вате встречных облаков... Между тем ковер, трепеща и слегка хлопая боковыми краями, совершал очевидный маневр — он поворачивал с юго-востока на юг.

Первым опомнился и взял себя в руки Леонард Сурьянович Хвощ, много чего испытывавший в жизни.

— Успокойтесь... э-э, — тут он запнулся, поскольку не знал, как обращаться к угонщику, слово «товарищ» ему было противно по идеологическим причинам, а называть обычного отказника «милостивым государем» или даже просто «господином» представлялось нелепым стилистически, — успокойтесь, мой друг, никто не будет препятст-

вовать вашему выбору постоянного места жительства. Однако у меня есть встречное предложение: почему бы нам всем не полететь в Хельсинки? Это столица цивилизованной страны, практически центр мирового движения в защиту прав человека. Оттуда вы сможете без всяких проблем...

Но и на небе не достиг диссидент полной свободы слова: Иванов перебил его, в то время как ковер уже дернулся и начал круто разворачиваться на северо-запад, при этом он ощутимо накренился, так что всем пришлось крепко ухватиться друг за друга, а женщины присели на корточки и тихонько застонали.

— Финны выдают! — закричал знающий загробную жизнь не понаслышке Иванов, стараясь быть услышанным сквозь полетный шум. — Выдают, сволочи, чухонцы! Боятся нас! В Стокгольм надо лететь или прямо в Англию, там не достанут! В Швеции вообще свобода...

Ковер дернулся и, подняв закрылки, перешел в нижний эшелон, одновременно доворачивая на запад.

— Достанут вас зонтиком и в Швеции, — возразил Леонард Сурьянович и устало махнул рукой. — Укол, и готово... В Хельсинки надо лететь, господа, под защиту европейских конвенций, международных амнистий и, скажу прямо, зарубежных спецслужб. Да у нас и горючего до Швеции не хватит...

Немедленно, словно подтверждая слова опытного человека, ковер дернулся, чих-

нул, провалился в воздушную яму и с большим трудом выровнялся. Пассажиры умолкли, с ужасом переживая капризы техники и молясь.

— А что насчет промтоваров, — в шуршавшей воздушными потоками тишине раздался полный спокойствия голос дамы Терebilко, — в той Хельсинке лучше или же в Швеции? Вот, допустим, болоньевое пальто купить где можно? И сколько, например, стоят хорошие дамские сапоги в том же Бене Гурионе, про который вы говорили, мужчина? Лицо мне ваше знакомое, может, вы в Феодосии отдыхали?

Дать ответы на эти дурацкие вопросы никто не успел, потому что еще не умолкла неудержимая охотница за дефицитом, как слева по курсу вспух и лопнул в уже потемневшем — день прошел незаметно — небе огненный шар.

На этом мы временно оставим наших героев и спустимся на землю.

Много на земле храбрых воинов, но не было и нет храбрее, чем маршал Печко Иван Устинович, дважды Герой всего Советского Союза, да продлятся дни их обоих!

И вот сидит маршал Печко в своем бункере главного командования противовоздушной всепогодной высотной обороны всея СССР, стран Варшавского договора, развивающихся государств, идущих по социалистическому пути, народов Азии и Африки, борющихся с империализмом и неокOLONиализмом, и прочая, и прочая, и прочая. Страшен и прекрасен дважды герой в бое-

вой и трудовой славе его. Золотом сияют погоны и ордена, алеют лампасы и шея, вечно зеленеет фуражка почетного пограничника, белы как снег парадные мундирные одежды, черны, как море, свежеекрашенные в парикмахерской Генштаба поседевшие в маневрах волосы. И нет никого под луною выше его по должности и званию, кроме Всевышнего и Главнокомандующего. В общем, как говорится, вечная слава героям, хотя со временем, конечно, вечная память.

И вот прибежали в бункер адъютанты, второпях докладывают о попытке нарушения госграницы путем движения летательного аппарата типа «ковер» предположительно иранского происхождения в направлении юго-восточных и северо-западных рубежей нашей родины, с пятерью... в смысле с пятерями... то есть с пятерья... в общем, 5 (пять) гражданских лиц на борту, товарищ маршал. Есть мнение специалистов, что могут быть произведены ковровые бомбардировки, товарищ маршал. О личностях пассажиров, которые являются также и экипажем, есть противоречивые данные, товарищ маршал. Не исключено, товарищ маршал, что враждебно настроенные личности, товарищ маршал. Близкие к сионистским, товарищ маршал, диссидентским, товарищ маршал, и морально разложившимся, товарищ маршал, кругам, а также мещанка-приобретательница Терebilко Т. и неизвестная женщина Зульфия (другое имя Зухра) из города

Самарканд УзССР, товарищ маршал Иван Устинович!

Короче, так и доложили. В общих чертах.

Горе и несчастья, искушения и соблазны стерегут человека на пути его. Только праведникам дано пройти назначенное и достигнуть блаженства. Дорога мудрого — исполнение заветов Творца, удел храброго — твердость в деяниях. Прочие же все погибнут, и Царь Тьмы будет смеяться над участью неверных.

А что касается Печко Ивана Устиновича, то он не знал сомнений.

Родился будущий маршал и дважды герой в селе Нижнее Брюханово (в те времена оно числилось Подмосковьем, впоследствии же стало подверженным элитной застройке районом города и в этом качестве всем нам известно), в семье колхозника-бедняка. В шестнадцать лет ушел Иван на фронт, однако, учитывая внезапно обострившееся накануне отправки плоскостопие ног, командование направило его не в действующую армию, а рядовым гужевых войск в трофейную команду. В рядах этой команды дошел Ваня до Берлина, где, прямо в логове зверя, проявил находчивость и смекалку, столь свойственные русскому солдату вообще.

Дело было на окраине фашистской столицы. Трофейная команда, где служил ездовой Печко, на плечах наступающего 1-го Украинского (по другим сведениям — 2-го Белорусского) фронта ворвалась в помещение гитлеровской ювелирной лавки

«Шмидт унд зоне». В лавке отряд не встретил серьезного сопротивления, поскольку старый Шмидт уже лежал на пороге с дыркой во лбу, оставленной передовыми частями армии-освободительницы, а его зоне, то есть сыновья, Генрих и Вальтер, как раз в это время, но в совершенно другом месте, удачно сдавались капралу американской пехоты Сэмюелу Дж. Зульцбергеру. Капрал сидел на капоте полугрузового автомобиля «додж» рядом с креплением пулемета, пил, болтая ногами, консервированный помидорный сок из жестянки и, улыбаясь — от чего сияние его недавно проверенных полковым дантистом зубов сливалось с сиянием его круглого сливово-шоколадного лица — во весь рот, смотрел, как перепуганные наци складывают в аккуратную пирамиду свои мэшинганы. Сэм собирался дождаться окончания этой обязательной процедуры, сфотографироваться на фоне пленных и захваченного оружия, а затем дать крепким ботинком этим обосравшимся мальчишкам по их паршивым задницам и отправить по домам. Никакого приказа относительно сдавшихся у него не было, а возиться с ними ради собственного удовольствия он не собирался — на взятых с боями территориях его всегда больше интересовали девчонки, чем мальчишки. Впредь мы капрала Зульцбергера вспоминать никогда не будем, так что это все о нем.

А команда, где служил будущий маршал, приступила к выполнению своей боевой

задачи, то есть начала осматривать помещение в поисках трофейного имущества. Осмотр, увы, ничего не дал: имущества никакого не было, поскольку золотые часы, колечки и тонкие цепочки с медальонами в виде сердечек, открывающихся для хранения маленьких фотографий и любимых волос, уже находились в карманах галифе и вещмешках-сидорах неудержимо наступающего 2-го Белорусского (или 1-го Украинского) фронта. Однополчане бойца Печко собрались было оставить стратегически несущественный объект, однако Иван в последнюю минуту задержался, обратив внимание на рассыпанные по всему полу мелкие стекляшки, на которых оскальзывались подошвами сапог его боевые друзья. Он наклонился, чтобы присмотреться, и тут счастливая солдатская звезда взошла над ним, точнее, сверкнула ему прямо в глаз голубым стекляшечным огнем. Многие другие, во всех отношениях вполне исправные воины, не придали бы значения такой ерунде, а плюнули бы на фашистское стекло да и пошли бы к победе дальше. А Ваня не плюнул, напротив, принялся собирать стекляшки, которые тем временем пускали ему то в левый, то в правый глаз синие лучи, и ссыпать в пустой — Печко никогда не курил и впоследствии — кисет, подаренный незнакомой труженицей тыла по переписке...

Одним словом, за эту свою сообразительность рядовой Иван Печко был представлен к награде и вскоре получил ее — медаль

«За взятие Берлина», без уточнения, что именно в Берлине он взял. И конец войны он встретил уже командиром взвода в звании старшины, совершенно на какое-то время позабыв о десятке-другом стёкляшек, не поместившихся в кисет да так и заваливавшихся в нагрудных карманах линялой от солдатского пота гимнастерки.

Много чего было потом в жизни заслуженного фронтовика. Училище, рота, академия, полк, еще одна академия, дивизия, округ, другой округ... И везде офицер Печко И.У. проявлял себя идейно выдержанным, политически зрелым, морально устойчивым, настойчиво овладевавшим знаниями, постоянно повышавшим свой культурный уровень, инициативным, исполнительным, скромным, выдержанным, отзывчивым и чутким. Обо всем не расскажешь, опишем только, как он получил еще две из своих неисчислимых наград — первую и вторую геройские Золотые Звезды.

История первой началась во время известной агрессии американского империализма против Кореи. Тогда, напомним, воины Народно-Освободительной Армии Китая добровольно сражались с марионеточными войсками Ли Сын Мана и их заокеанскими покровителями, а будущий (ныне покойный) вождь трудящихся всего мира и особенно Северной Кореи Ким Ир Сен имел чин обычного советского капитана. И вот как-то сидели майор Печко, служивший тогда в Дальневосточном военном округе, с капитаном Кимом, служившим

там же, по ночному дежурному времени в штабе, выпивали понемногу чистый, доставшийся от летчиков, спирт, закусывали доброй курятиной, подаренной благодарным местным населением, беседовали. Ну, и пожаловался между двумя кружками капитан майору на недомогание: вот, смотри, Иван, видишь, как шею справа раздуло? Голову не могу держать прямо, словно страдаю детской болезнью левизны, как учил нас великий Ленин, и воротничок кителя уже не сходится. Посмотрел майор — действительно, беда у корейского товарища. А Ким продолжал: живет здесь в одной деревне наш старый корейский колдун, его, конечно, как установим социализм, надо будет отвезти в Корею и расстрелять. Но пока он может вылечить меня от моего левого уклонизма, только говорит, для этого нужен очень дорогой камень, похожий на голубое стекло, называется у вас по-русски «бририант» (поскольку в корейском языке звук «эл» плохо произносится, мы так и пишем), а где же я возьму этот камень?.. В общем, почему уж майор Печко решил помочь корейскому товарищу — то ли из пролетарской солидарности, то ли просто по личной дружбе, то ли такой он проницательный был, что угадал судьбу обычного Кима, каких в тех краях водилось и водится неисчислимое количество, — неизвестно. Только дал Печко Киму бририант, и старый колдун чиркнул Кима по шее острой бририантовой гранью, и выпустил из больной шеи все лишнее,

и выпрямилась шея у Кима... После чего прошло несколько лет, как вдруг полковнику Печко присвоили звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда и ордена Ленина «за выполнение особых заданий командования в период 1952–1953 годов». Иван Устинович долго ломал голову над тем, за какие именно особые задания получил высокую награду, и не мог ни до чего додуматься, но однажды в гарнизонной парикмахерской стал листать журнал «Народная Корея» — и замер. На фотографии в журнале он увидел довольно толстого корейца в сером костюме. Кореец стоял перед большой непонятного назначения машиной и указывал на нее рукой. Под фотографией было пояснение: «Вождь трудящихся всего мира, любимый вождь корейского народа товарищ Ким Ир Сен в соответствии с идеями чучхе руководит производством трикотажа». Полковник Печко взгляделся в фотографию еще внимательней, увидел опухоль, хмыкнул, пробормотал тихо: «Опять выросла, правильно он колдуна расстрелял» — и уж больше не думал о том, за какой подвиг получил звание Героя.

А насчет второго геройства, то с ним все было гораздо проще. Служил генерал-майор Печко тогда в знаменитой и незабвенной ГСВГ, то есть в Группе советских войск в Германии, в городе Вюнсдорфе. Ну, все как положено: ездил с инспекциями по частям и подразделениям, отчего каждое утро мучился изжогой, покупал в военторге не-

дорого фарфоровую посуду коробками, ждал неизбежного перевода — с повышением, конечно, — в Забайкалье, потому что надо и честь знать, уступать место тем, кому очередь пришла... Словом, жил, как и следует военачальнику, герою и победителю. Так бы и жил, но однажды сделался он из инспектировавшего инспектируемым — при был с проверкой по его линии «товарищ с Гоголевского бульвара», как говорили в войсках, то есть из Генерального штаба Советской Армии. Товарищ был коренаст, прическу носил седым ежиком, нос имел крепкой круглой бульбой, так что в любом областном драмтеатре ему немедленно дали бы роль городничего Сквозник-Дмухановского в уже упоминавшейся нами пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». Однако ж он не трясся от страха в ожидании проверяющего из столицы, а сам именно таким проверяющим и был, в подтверждение чему носил на шитых золотом погонах двубортного генеральского мундира целых три больших звезды, положенных по званию генерал-полковнику. Соответственные и сцены по его приезду в город Вюнсдорф последовали — с долгими товарищескими ужинами, с изъявлениями любви со стороны местного чиновного люда в звании от подполковника и выше, с чистосердечными подарками даже... Отличие же действительности от художественного вымысла состояло в том, что никакой путаницы не случилось: кем был ревизор, за того его и принимали. Ну-с, генерал-майор Печко

тоже, естественно, участвовал в мероприятиях по встрече, а на одном из этих мероприятий, в специальной комнате офицерской столовой, оказался непосредственно рядом с гостем. Между привозным коньяком «КВВК», что расшифровывалось как «коньяк выдержанный высшего качества», а в войсках как «Клим Ворошилов выпил керосина», и местной закуской типа вареной до состояния горячего холодца нежнейшей свинины командиры разговорились о текущем международном военно-политическом положении. Тут-то Иван Устинович и проявил себя действительно идейно выдержанным и политически зрелым, как указывалось во всех его характеристиках. Приезжий генерал-полковник, выслушав мнение местного генерал-майора, искоса глянул, автоматически, без всякой практической нужды, по старой солдатской привычке тиранил свою бульбу золотым шитьем мундирного обшлага и хмыкнул.

— Стеной, говоришь? — переспросил он и снова хмыкнул.

— Так точно, товарищ генерал-полковник, — твердо ответил Иван Устинович, — именно стеной. Чтобы пресечь, как говорится, раз и навсегда и противостоять.

— Дорогое дело, — задумчиво, как бы самому себе, сказал товарищ генерал-полковник, — одного кирпича пойдет хер его знает сколько. А у государства, мать бы, сам понимаешь, мать бы, каждая копейка, мать бы, на счету в условиях навязанной нам гонки, мать бы, вооружений. А?

— Так точно, товарищ генерал-полковник, — решительно возразил Печко, — никаких кирпичей не надо, чистый бетон и арматура, немцы сами все и сделают, у них колоссальный опыт восстановления города накоплен. Возрожденный, как говорится, Берлин стал еще краше.

— Бетон, говоришь? — опять переспросил собеседник и опять хмыкнул, в третий раз.

— Так точно, товарищ генерал-полковник, — в третий раз ответил и наш герой. — А относительно средств... Вот. Боец один нашел в оставшихся от фашизма развалинах и готов передать в защиту мира...

С этими словами он сунул руку в карман брюк, как раз в промежуток между лампасами, и вынул оттуда обычный спичечный коробок. Генштабовские руки коробок приоткрыли, раздвинув, генштабовский глаз глянул внутрь, голубое сияние на миг выскользнуло из коробка, но тут же было вновь скрыто, так что никто из выпивающих офицеров и внимания не обратил...

На этом все и было, собственно, закончено. Стену построили то ли по докладу, то ли из общих соображений, а генерал (уже генерал-лейтенант, кстати) Печко вскоре был награжден второй Золотой Звездой с вручением всего, что полагалось за выполнение, конечно, опять же «особых заданий командования», за что же еще. И Печкина карьера пошла круто набирать высоту, как ракета класса «земля-воздух», командовать которыми он и был впоследствии назначен, к удив-

лению некоторых менее выдержанных товарищей. Политически незрело возмущались товарищи тем, что завхоз — вообще-то генерал Печко действительно служил по линии управления тыла — назначен на такую боевую должность. То есть встречались и тогда в армии, надо признать, отдельные даже крупные командиры, неправильно понимавшие кадровую политику и ставившие во главу угла чисто профессиональные качества, а не морально-политический облик в целом...

Однако вернемся в бункер. Там несущие боевое дежурство подчиненные маршала Печко уже говорят одновременно по всем железным спецтелефонам с бронированными трубками, там уже звучат, смешиваясь, серьезные, но неразборчивые команды, там полным ходом идет подготовка к боевой, товарищи офицеры, работе. И сам маршал сидит посреди всего этого бардака, каковым всегда являются военные действия хоть в чистом поле, хоть в океане, хоть на небе, хоть в подземном бетонно-стальном бункере главного командования противовоздушной обороны. Сидит маршал, хмурит брови глаз, собирает морщины лба, напрягает скулы щек, сжимает губы рта, крутит диск красного телефона с гербом — пытается связаться известно с кем для получения последних указаний по дальнейшим действиям в условиях нештатной ситуации, слушаюсь, товарищ первый секретарь, так точно, товарищ первый секретарь, понял, товарищ первый секретарь!

Но не к кому обратиться бедному маршалу.

Потому что занят, мать бы, телефон, мать бы, правительственной связи, мать бы ее, товарищи! Занято и занято, бип-бип-бип, как тот спутник, честное слово! Сколько ж можно говорить по телефону?

А это не вам судить, товарищ Печко. Не вам обсуждать использование правительственной спецсвязи первыми лицами партии и государства. И не касается вас то, что в данный момент по занятому телефону пересказывается анекдот про армянское радио, про то, можно ли построить социализм в отдельно взятой Армении. И не следует вам говорить, что анекдоты про радио, мол, пусть бы по радио и рассказывали, дошутитесь, товарищ Печко. Вы лучше, маршал, принимайте решение, как требуется по вашей должности, доверенной вам Центральным Комитетом и лично Верховным главнокомандующим. Ну?!

— Уничтожить нарушителя государственной границы! — приказал, не дозвонившись, маршал Печко Иван Устинович на свой страх и риск.

И ровно через год скончался от обширного инфаркта в Центральном имени Бурденко госпитале.

Велик Великий и каждому уготовил награду по делам его, то звездами с небес осыпал, а то последнее достояние отнял — и вновь повторим мы: «Велик Великий и всемогущ!»

Рвутся в небе огненные шары, вот уж прожжен ковер в трех местах, словно огром-

ный курильщик стряхнул на него искры от своей страшной сигареты.

— Поразить одной ракетой! — приказал маршал Печко, и действительно, уже буквально пятая ракета попала в ковер, прошла, не взорвавшись, через него насквозь, так что от дорогой вещи остались только дырка и кайма, на которой кое-как удерживались известные нам слабые люди.

— В связи с техническими неисправностями наш ковер совершит вынужденную посадку, — объявила Зульфия. — Просьба не курить и застегнуть...

Однако она не договорила, поскольку потерявший из-за дырки подъемную силу ковер спикировал к чертовой матери в лес, стряхнув с себя в разные стороны пассажиров.

Представьте себе эту картину: драный, дырявый, словно матерчатый бублик, ковер, тихо планирующий в темно-синем, исколотом звездами небе, и огненные букеты, расцветающие один за другим, словно жуткий фейерверк, и каждый такой огонь на мгновение делает невидимыми и звезды, и само небо — только светло-желтый пожар вспыхивает в вышине... И люди летят с небес.

Но никто не пострадал.

Иванов, например, упал на ель и плавно сполз по ее веткам, весь облепившись иголками, но, вопреки народной мудрости, почти не ободравшись. Бесплотный, понятное дело. Да ему и при жизни везло до самого ее мгновенного конца — женщины его люби-

ли, беды если и сваливались, то в каком-нибудь терпимом варианте, все необходимое доставалось без особого напряжения сил. Такой он был человек, легкий и приятный, такая ему и судьба досталась, что на этом свете, что на том. Сполз по дереву тенью, пососал оцарапанный палец и поплыл над тропинкой по направлению к большой дороге, на шум проезжавших грузовиков. И это все о нем.

А Илюша Кузнецов угодил, понятное дело, на свое еврейское счастье, в болото. Вылез весь в грязи, отвратительно пахнувший гнилой водой — кошмар! Но тоже без физических повреждений. Встряхнулся по-собачьи, поправил непоправимо косо сидевшие очки и побрел на тусклый свет ближней железнодорожной станции, держа за уголок важный документ из ОВИРа, случайно оказавшийся в кармане, и суша его на ходу. Так пришел он на станцию, сел в проходивший грузо-пассажирский, вернулся в Москву, а с утра уже стоял в очереди таких же отщепенцев, чтобы получить от работников Ленинской библиотеки штамп на те из принадлежавших ему книг, которые изданы до 1947 года и которые он хотел вывезти за рубежи СССР. Ему было известно, что штамп будет таким: «Музейной ценности не представляет, вывозу не подлежит» — но попробовать все равно стоило, да? Или вы считаете, что нет? В общем, уехал в конце концов наш неудачливый угонщик ковров, уехал, выпустили в семьдесят втором году через Италию.

Ну, и что толку? Изъездил весь мир, а все равно вернулся и живет сейчас в Москве без регистрации, что же касается израильского гражданства, то кому оно помогло, скажите, кому? Так вот он и странствует, болтается, как хризантема в аквариуме. Будто Вечный Жид какой-то, извините за выражение. И это все о нем.

Теперь несколько слов о Леонарде Сурьяновиче Хвоще, инакомыслящем. Куда именно он упал, мы достоверно не знаем, во всяком случае, пока падал, не было никаких сомнений, что попадет на территорию Советского Союза, а как приземлился, возникли версии. По некоторым данным, он оказался в братской Польше, принял там другую фамилию и под ней участвовал в известных событиях как активист «Солидарности» — на многих фотографиях он виден позади Валенсы с усами еще более пышными, чем у самого Лешека. Из других источников известно, что уже утром он появился в мюнхенской студии радио «Свобода» и выступил с сообщением о том, что советские власти распорядились сбивать самолеты с мирными пассажирами в случае, если возникает угроза угона их за границу. Эта версия представляется более правдоподобной: во-первых, сохранились соответствующие записи в архивах «Свободы» и несколько заметок в подшивках европейских и американских газет того времени, во-вторых, некоторое время спустя мы сами, собственными глазами видели Леонарда в Мюнхене. Он шел, явно направляясь

на печально известную радиостанцию, через Энглишгартен, скрипел каблуками удобных ботинок по гравию пешеходной дорожки, был одет в баварский зеленый пиджак с бархатными лацканами и без воротника, выглядел прекрасно. Мы раскланялись и пошли каждый своею дорогой — он все дальше по наклонной плоскости клеветы на страну, которая вырастила его и дала образование, а мы в сторону пешеходной торговой улицы, в надежде купить перед возвращением на родину недорогой, но приличный костюм, из тех, которые лучше всего покупать именно в Германии... Впрочем, возможно, все это чепуха, а Леонард Хвощ никогда не покидал отечества, дождался перестройки, стал депутатом и даже телеведущим — во всяком случае, в этих качествах он памятен многим. В конце концов, не важно, куда он упал и куда потом поднялся, он Леонард Сурьянович Хвощ, человек знаменитый. И это все о нем.

Теребилко Татьяна села на круп посреди поля. Удар был несильный, но вызвал у нее приступ мучительной икоты — не то от страха, не то от сотрясения внутренних органов. Это не помешало ей вернуться попутными машинами в Москву и купить-таки ковер, какой хотела с самого начала. На этом ковре, между прочим, выросла девушка Олеся Теребилко-Грунт, с него, возможно, и началась ее тяга к прекрасному, так что в нашем рассказе все, буквально все имеет важный смысл. Татья-

на же Терebilко, между прочим, теперь собирается переехать к дочке, в российскую столицу, а домик в Феодосии продать и получить за него хорошие деньги, потому что в Крыму все, особенно земля, дорожает на глазах, и кое-где уже цены дошли до восьми тысяч за сотку, так что можно получить столько, что в Москве прикупить отдельную от дочи квартиру, но на той же площадке. А сама Татьяна, кстати, выглядит... ну, на сорок пять, не больше. И это все о ней.

Ну, и Зульфия (Зухра). О ней особенно нечего рассказывать, все и так ясно. Она вернулась пешком в Самарканд, вымыла усталые ноги в холодном арыке, покормила детей и мужа лепешками и дыней, а когда пришла ночь, рассказала эту сказку своему повелителю, который днем, конечно, работал заврайоно. И это все о ней.

Боже, как я люблю их всех, родных моих!

И прощелыгу, звездострадателя, пусто звона, призрака Иванова, прости его, Господи, и упокой, наконец, душу его,

и вечного зануду Кузнецова Илюшку, он как начнет ныть и жаловаться на судьбу, так сразу хочется записаться в антисемиты,

и хитрожопого Леонарда, правозащитника-то правозащитника, но прохиндея, если честно, каких мало,

и толстую Таньку Терebilко, она и вправду еще вполне ничего,

и бедную, костлявую и темнолицую Зухру (Зульфию), да продлятся ее праведные дни,

и даже маршала Печко Ивана Устиновича, Царствие ему, коммунисту, Небесное, не злой был в принципе человек, хоть и вор.

Кому что суждено, то и будет. Это — счастье.

Мир же вам, живым и мертвым.

Спасибо. Прощайте пока.

ИЗ ЖИЗНИ

МЕРТВЫХ

Военный пенсионер Эдуард Вилорович Добролюбов никак не мог жаловаться на судьбу. Да он на нее и не жаловался, но лишь потому, что смолоду был материалистом до мозга крепких костей и никакой судьбы не признавал вовсе, а только верил в исторические закономерности и неизбежный социальный прогресс. На фоне названного прогресса реставрация капитализма в России представлялась майору внутренних войск в отставке Добролюбову Э.В. результатом целенаправленной подлой деятельности мирового врага народов, каковым является, конечно, американский империализм, осложненный, скажем прямо, международным сионизмом как разновидностью фашизма, что признала и ООН.

Свою автобиографию при необходимом случае Эдуард Вилорович излагал следующим образом:

«Я, Добролюбов Э.В., родился в семье беднейшего крестьянина Добролюбова Вилора, носившего старое имя Николай Мефодьевич. В легендарные годы первых пятилеток мой отец, решительно встав на сто-

рону победившего народа, принял современное имя Вилор в честь первых букв Владимира Ильича Ленина и Октябрьской Революции. Впоследствии он выполнял поручения партии вплоть до секретаря райисполкома, однако скрытый троцкизм и в дальнейшем разоблаченные вредители, устроив в стране необоснованные репрессии вопреки указаниям Центрального Комитета и лично товарища Сталина Иосифа Виссарионовича, довели до того, что мой отец скончался в 1937 году, за что и был реабилитирован в 1958 году в рамках волюнтаризма и очернения прошлого. За это время я, сирота, получил от государства среднее и среднее военное образование, после чего служил на должностях командного состава в системе МГБ (в дальнейшем МВД) в городе Йошкар-Ола по линии исправительных учреждений, и оттуда меня отправили в отставку в звании майора. Женат, жена Лаура Ивановна Добролюбова является пенсионеркой по возрасту. От этого брака имею сына, Добролюбова Ивана Эдуардовича, 1969 г.р., работающего в области строительства...»

Тут, надо заметить, старый солдат Добролюбов кривил душой. То есть не то чтобы он врал, обманывать органы (а Эдуард Вилорович был твердо уверен, что всякая автобиография идет в органы) никогда не решился б, но не договаривал и смягчал. Прослуживши большую часть своей жизни в должности коменданта отдельного лагпункта, он не мог, конечно, принять и, как

уже было сказано, не принял известных перемен конца века, демократов так называемых терпеть не мог, ругал их, понятное дело, дерьмократами и ворами. Каково же ему было бы признать, что сын его Ваня заделался капиталистом, буржуем, и прямо написать его название «предприниматель»! А ведь если по-честному, так и следовало написать.

Потому что Иван Эдуардович тысяча девятьсот шестьдесят девятого года рождения никем иным, кроме как предпринимателем, то есть буржуем-капиталистом, дерьмократом и новым, как говорят в народе, русским считаться никак не мог. И вроде бы воспитан был комсомолом, и происхождение имел вполне уважаемое из военнослужащих, а не выдержал испытания непростым временем, встал на путь личного обогащения чистоганом за счет грабежа народа. Некоторое время знаменит был в Москве как владелец фирмы — известной наверняка и вам — «Бабилон», строившей элитный дом невообразимой высоты, помните? Но потом фирма эта накрылась, как бывает со многими фирмами, жилье недостроенное и заброшенное пошло прахом, а Иван тихонько выбрался из-под руин большого бизнеса и занялся мирным делом: возит на Кипр бригады. Они там моют окна в многоэтажных гостиницах и ремонтируют вконец изувеченные нашим туристом номера — ручки привинчивают, краны ставят, а поскольку берут недорого, то бизнес процветает. Молодой Добролюбов оставил за

собой возведенный в славные времена на хорошем подмосковном шоссе коттедж дворцового типа и живет там в свое удовольствие всей семьей. Родители нячат внуков Николая и Мефодия, жена Оксана, домохозяйка, фитнесом увлекается до полного изнеможения, а сам Иван отпустил для прикола бороду по краю щек, как у великого однофамильца и революционного публициста, да и радуется.

Эдуарду же Вилоровичу такая жизнь не в радость, хотя, как уже было сказано, на судьбу ему жаловаться грех. Ну, чего не хватает почти еще здоровому и способному получать нормальные удовольствия от жизни мужику? Проснется, выйдет утром на крыльцо — красота! Легкий, как детское дыхание, туман поднимается над лощинами и зелеными долами великой и прекрасной Николиной Горы, большой ухоженный участок по черт его знает сколько за сотку лежит у ног, и под ногами не что-нибудь, а натуральный искусственный мрамор, и за спиной дом стоит красного кирпича в желтой штукатурке... В подвале финская банька фурычит, разогревается, на лужайке мангал каменный имеется в полной готовности, хоть сейчас шашлыки заводи, из кухни свежим завтраком тянет. Чада и домочадцы шумят — внуки курлыкают, невестка мышцы под музыку разминает, сын первым пивком булькает, жена, хоть и седая, но вполне еще телесная красавица, ворчит по-доброму — живи не хочу, товарищ Добролюбов. А надоест любоваться вечными ценностями рус-

ской средней полосы и русского же среднего класса — садись в самолет подходящей компании и дуй всей фамилией хоть в Европу, хоть на Бали какое-нибудь, сын с радостью финансирует. Раскланивайся с подмосковными соседями среди голубых снегов Куршавеля, плещись в синей воде бассейна на арендованной вилле в Антибе, парься в мокрой духоте тропиков... Разве плохо? И при этом, заметьте, пенсия майорская идет.

Но недоволен старик, страдает.

Отчего страдает человек? Почему просыпается ночью в тяжелой ломоте, будто вывихнул грудь, отлежал сердце? Спать хочется, а уж не заснешь, в поту весь, а познабливает. И дышать трудно. Супруга раскинулась посреди широкой импортной койки, сопит ровно, с легким свистом, иногда заведет ненадолго тонкий храп, да и опять уgomонится в беззвучном удовольствии — а мужчина мается, ворочается на краю. Просто беда... Чем, спрашивается, провинился перед Господом? Вот на Троицу даже в церкви был, ставил на всякий случай свечки, крестился — тем более, теперь это можно. Много размышлял и несколько лет назад, несмотря на материализм, пришел к выводу, что Бог есть, частично признал ошибки прошлого, когда в соответствии с марксистско-ленинской подготовкой думал, что нет. Материализм материализмом, а Бог Богом... Ну, есть Бог, а легче от этого не стало. Так иногда грустно делается бессонной ночью, что даже заплачешь. Лежит пожилой мужик

и всхлипывает, как пацан, сопли тянет, углом простыни глаза трет. А Лауре, заразе, хоть бы что, дрыхнет, еще и шептуна запустит — правильно говорят, что у баб душа из ваты. Ничего ей не нужно, только внуков обкармливать да невестке в спину шипеть. Ты же тем временем мучаешься.

Некоторые считают, что в таких мучениях как раз проявляется человеческая природа, тяга к идеалу, данная нам свыше. Но на это мы так скажем: идите вы в жопу с вашим идеалом! На хера нужен ваш идеал, если от него только бессонница и удушье? Куда лучше бывало в годы службы — вернешься из зоны, примешь стакан под котлету с гречкой да и повалишься поперек одеяла, как убитый, безо всякого идеала, иногда даже сапоги вместе с галифе Лаурка стягивала... Эх-хе-хе, рад бы теперь снова в такую примитивную бездуховность, как говорит дура-невестка, да годы не те. Вот и лежишь, глядишь в потолок, а потолка-то в темноте не видно, только черная пустота.

В тяжкие ночные часы лишь одна мысль может отвлечь деда Эдуарда от унылого и бессильного погружения в депрессию, которой нередко сопровождается мужская старость (чего Эдуард Вилорович не знает, да и само слово «депрессия» ему не близко знакомо). Вернее, не мысль, а идея, точнее, замысел. В связи с чем возник этот замысел в голове отставного майора, можно только догадываться. Скорее всего, как у марксизма, было у добролюбовского мечтания три источника и три составных части.

Первый источник – угрызения совести оттого, что жил он буржуйской жизнью, будучи по убеждениям твердым коммунистом. И жил, надо признать, хотя и с ночными терзаниями, хотя и с угрызениями названными, но не без удовольствия. Ну, не может человек не испытывать удовольствия в теплом бассейне при температуре окружающего воздуха плюс двадцать два, в окружении антибских цветов и деревьев, накануне полдника с рыбой тюрбо и всем прочим! То есть человек может, человек все может, и плакать, когда его гладят шелковой рукою, и смеяться, когда плеткой охаживают, но организм-то знает наверняка, что хорошо, а что плохо. И организм радуется, отчего человек еще больше расстраивается.

Второй источник – сказки Пушкина в старом детгизовском издании с прекрасными картинками. Эдуард Вилорович вообще читать любил, но, ввиду общего несогласия с нынешней действительностью, читал для собственного удовлетворения не много: биографию полководца Жукова, газету «Советская Россия» и толстый журнал бесплатных объявлений о недвижимости, всегда откуда-то появлявшийся на столике в прихожей. А сказки Пушкина, сохранившиеся чудом еще со времен раннего детства сына Ивана, читал вслух внукам-погодкам, сначала старшему Николаю, потом младшему Мефодию, вплоть до их последовательного поступления в гимназию. К тому же времени, как обоих стал забирать по утрам старомодный, словно паровоз, желтый американский

автобус с надписью «Первая классическая гимназия им. Фонвизина», дедушка уже выучил все наизусть – и про чертовщину, творившуюся вокруг Руслана с Людмилой, и про жестокости Балды по отношению к несчастному попу, и про разврат, которым занимались при дворе царя Салтана... Сочинения эти, следует заметить, произвели на него огромное впечатление. Так бывает опасна корь, перенесенная в зрелом возрасте.

Третий источник – старые советские песни и мельком подслушанное в храме учение о бессмертии души. Тут все ясно: утверждение «Ленин всегда живой» на простого, но не лишённого воображения человека обязательно оказывает сильное действие, а случайно разобранные в общем пении на Пасху и с наивным кощунством понятые слова «смертию смерть поправ» непременно врезаются в память, словно выбитые в камне.

Что же касается составных частей, то они суть

1) природная деятельность природы
Э.В. Добролюбова,

2) соблазнительная ситуация, сложившаяся на центральной площади страны,

и 3) присущее всякому русскому человеку стремление решить личные, общенародные и мировые проблемы разом.

Короче говоря, Эдуард Вилорович Добролюбов задумал проникнуть в мавзолей Владимира Ильича Ленина и, путем разрушения хрустального гроба и последующего

нанесения поцелуя, пробудить великого вождя трудящихся всего мира для исправления политического курса и восстановления его же, ленинских, норм.

Ни хрена себе, а?! С ума сошел старый дурень.

Но, с другой стороны... Так ли уж безумна идея? Не предпринимаются ли вокруг, в нашей с вами обычной и полностью реалистической жизни, попытки осуществления идей не менее странных? Допустим, поворот России на путь Швейцарии или, наоборот, Швеции; восстановление допетровских обычаев с дальнейшим выделением в окружающую среду исконно славянского духа; перенос азиатско-европейской границы с Урала на Карпаты или, напротив, на приамурские сопки; внедрение монетаризма в грудное вскармливание; национализация верхних слоев атмосферы; торжество справедливости... Все мы Добролюбовы, господа. В каждом из нас есть свой Добролюбов, товарищи. И не смейтесь над старостью, все там будем.

А сам мечтатель начал осуществление плана как положено, с глубокой разведки. От природы он был человеком очень неглупым, рассудительным и практичным, так что решил прежде всего отправиться в царство мертвых, чтобы там, на месте, как следует изучить обстановку, нравы и обычаи обитателей, условия работы и особенности этих условий. Однако, поскольку проникнуть непосредственно в загробную среду каким-либо иным путем, кроме как личной

кончиной с последующим захоронением (что старик пока легкомысленно откладывал на неопределенный срок), не представлялось возможным, он решил ограничиться обследованием московских и ближнего пригорода кладбищ — мест, наиболее приближенных куда надо.

Весь список, от федерально значимых Новодевичьего и Кунцевского до культурно ориентированных Ваганьковского и Перedelкинского, от национально окрашенного Востряковского до сравнительно общедоступных Митинского, Хованского и Никола-Архангельского, оказался огромным. Но Эдуард Вилорович горячку не порол, действовал последовательно и планомерно. Разделавшись в утренние часы с кое-какими хозяйственными заботами, он, экипированный мятой пластмассовой авоськой с бутербродами, после обеда сел в автобус, шедший до ближайшего метро, потом долго ехал под землей, втискивался в маршрутку и, наконец, во второй половине дня прибывал на очередной объект. Там он проводил несколько часов, как правило, до самого запираания ворот — давняя служебная привычка действовать в чуждом и враждебном окружении зоны подсказывала ему, что хмурое время сумерек более всего подходит для рекогносцировки быта покойников. Конечно, еще лучше было бы исследовать ситуацию ночью, но по ночам кладбища закрывались, да и рисковать без особой нужды Добролюбов не хотел, берег себя для завершающего этапа операции.

Однако и при свете испытал разведчик немало.

В Переделкине и на Ваганьковском все было спокойно — поклонился на всякий случай дорогим сердцу всякого культурного человека могилам, вылил, где положено, наземь немного водки, постоял с грустным лицом среди москвичей и гостей столицы...

Неприятности начались на Новодевичьем. Там его внимание, кроме общеизвестных могил, сразу привлекли почему-то места последнего упокоения одного маршала и одного деятеля культуры. Устроились они неподалеку друг от друга, как, бывало, и при жизни устраивались на съездах, пленумах, верховных советах и всесоюзных совещаниях. Над обеими могилами возвышались солидные, больше обычного человеческого размера памятники, они-то и поразили взгляд и воображение Эдуарда Вилоровича: монументы были изумительно реалистические.

Маршал Печко Иван Устинович изображен в темном граните при всех приколотых к хорошо выглаженному гранитному мундиру наградах, от двух геройских звезд до последней медали за выслугу. В правой руке военачальник держит, прижав к гранитному уху, гранитную телефонную трубку, а левой нажимает на гранитную кнопку пуска ракет — вероятно, тоже гранитных. Скорее всего, скульптор запечатлел героя в один из самых ответственных моментов его боевой жизни, а именно тогда, когда он, не дозволившись до главнокомандующего (скажем

откровенно — рассказывавшего в тот момент по телефону товарищу из Политбюро свежий армянский анекдот), самостоятельно принял решение сбить некий ковер-самолет, явно намеревавшийся покинуть воздушное пространство СССР. Был такой эпизод... На борту этого ковра находилась группа отщепенцев, решившая таким образом предать лагерь мира и социализма, но умелые действия наших зенитных ракетчиков (или ракетных зенитчиков, там уж не до этого было) пресекли провокацию. Громкая получилась история, продажные западные газеты и так называемые правозащитники подняли тогда страшный визг, хотя даже и жертв человеческих-то практически не было, обошлось. А Печке дали малозначительный какой-то орден, вроде «Знака Почета», имевшего в орденосной среде прозвище «Веселые ребята», словом, невысокую награду, так что через год получил Иван Устинович ужасный инфаркт миокарда, медицинские полковники и генералы маршала не спасли, вот и стоит он теперь на кладбище в гранитном обличии, звонит, а там все время занято, так что приходится жать кнопку на свой страх и риск...

Что же до деятеля культуры Балконского Устина Тимофеевича, лауреата, истинного героя самоотверженного труда, поэта, прозаика и драматурга, то он изваян из белого мрамора, как подобает художнику. Слегка сутулясь всей своей высокой мраморной фигурой, Устин Балконский сидит за мраморным письменным столом и работает.

Хороший, достойный поэта и борца за мир английский твидовый пиджак из мрамора мягко свисает с худых плеч, мраморная звезда героя труда скромно болтается на лацкане, из мраморной портативной пишущей машинки торчит мраморный лист бумаги... Словом, в процессе творчества увековечен У. Балконский, и, по логике большого кладбищенского стиля, именно во время создания наиболее значительного из произведений. В чем и убедился заинтересованный визитер, обойдя скульптуру кругом и заглянув сзади, через плечо пишущего, в строки, выползающие из пишущей машинки. Строки эти — из стихов Балконского для самой знаменитой в государстве песни, вот они:

Слава народу и слава правительству,
Армии слава и всем остальным!
Мы процветаем, спасибо правительству,
На радость народу и всем остальным!

Пусть солнце сияет с небес днем и ночью,
Сияет народу и всем остальным!
И пусть эту песню поют днем и ночью
На счастье народу и всем остальным!

Слава правительству и населению,
Слава, конечно, и всем остальным!
Слава, ура и да здравствует многое
Раньше, сейчас и вообще навсегда!

Стихи уже высечены на мраморе, так что остается только вынуть мраморный лист из мраморной пишущей машинки и получить

за текст песни премию от правительства, народа и всех остальных.

Добролюбов дочитал знакомые слова и о многом задумался. Во-первых, он думал о том, почему отчество маршала совпадает с именем поэта и не приходится ли в связи с этим маршал лауреату сыном. Во-вторых, он думал о том, что означает лежащий на земле позади поэтического гиганта маленький камень с надписью «Анна Семеновна Балконская», уж не муза ли это похоронена у ног певца, и если муза, то кем она приходилась маршалу, не матерью ли. В-третьих, он думал о поэзии вообще и ничего придумать не мог — что тут придумаешь, чудо, Божественный Дар! «Раньше, сейчас и вообще навсегда...» Да, тут уж ни прибавить, ни убавить.

Между тем, пока пожилой человек размышлял о жизни, смерти и бессмертии, среди надгробий произошло движение. Устин Тимофеевич Балконский распрямил закаменевшую, как бывает от долгой сидячей работы, спину, слегка потянулся, заскрипев мраморными суставами, и обратился к маршалу, положившему наконец молчаливую трубку и с облегчением отнявшему палец от опасной кнопки.

— Ну-с, старый вояка, — хриловатым высоким голосом сказал поэт, — все начальству звонишь? Оно и видно Ваню, простая ты душа. Начальству не звонить надо, а стучать...

Тут, процитировав одну из знаменитых своих же острот, славившийся и при жизни цинизмом лауреат захихикал.

— Ихнюю мать, — откликнулся на это дважды герой, — им ни живой, ни мертвый не дозвонится, а отвечать потом мне. Сбили ту сраную тряпку — шум на весь мир. А если б не сбили? Улетели б они в свою Израйловку или в Швецию какую-нибудь, полный ковер этих... сидентов, в общем. Собрались, понимаешь, перебежать на сторону агрессивного блока, паскуды, а советская пэвэо, значит, не тронь их? Кого б тогда за жопу взяли? Правильно, опять Печку, у нас всегда генералы виноваты, а кто повыше, тот не знал ничего...

Балконский замахал на разошедшегося собеседника руками, при этом тонкий белый песок с шуршанием потек по мрамору.

— Хватит тебе орать, Иван, на кладбище ведь. Да и уши везде есть, выбирай слова, не мальчик, должен понимать... Ты лучше вот человеку на его вопросы ответь, это нам с тобой уже все известно, а он в законном недоумении...

Действительно, бывший майор находился в изумлении. Не столько поразил его сам факт оживленной беседы памятников, сколько смысл сказанного ими — прежде Добролюбов никогда не попадал в компанию таких ответственных товарищей, настоящих героев, и не представлял, какие вольные и даже непозволительные для коммунистов речи ведут они между собою.

— А чего объяснять, — раздраженно буркнул Печко, — майору внутренних войск не

все знать положено... Хочешь — сам объясняй, вы, интеллигенция, для объяснений и назначены.

— Ну, что ж, попробую, — Устин Тимофеевич Балконский поправил мраморные очки, внимательно посмотрел на бедного Добролюбова беломраморными глазами. — Значит, товарищ э-э... Добролюбов, суть дела вот в чем. Здесь, где мы с маршалом находимся, можно узнать все тайны жизни, поскольку здесь она, то есть жизнь, отсутствует. Здесь, как бы это сказать, на жизнь взгляд со стороны, а потому абсолютно все про нее известно. Любой желающий может взять в здешней спецбиблиотеке спецкнигу и прочитать в ней все и обо всех. Под расписку, конечно... Но, поскольку вы — товарищ проверенный и планируете весьма своевременную акцию, мы здесь посоветовались и решили на ваши вопросы ответить. В определенных пределах, разумеется, но ответить. Итак?

— А вот, например, — Эдуард Вилорович задумался и слотнул, — вы с товарищем маршалом родня или нет? Например... Потому что он Устинович, а вы тоже Устин, извиняюсь... Просто к примеру... Или вот Анна Семеновна...

— Понятно, — Балконский задумчиво улыбнулся, — понятно... Ну, майор, хорошо, готовься слушать. Ты слышал, что все люди — братья?

— Ну... в общем... — Добролюбов замаялся. — По классу и вообще... Свобода, равенство, мир, труд...

— Мир, — хохотнул деятель культуры, — труд, май... Не в том дело, а в том, что мы действительно все родственники. И Устином назвали и меня, и маршальского отца в честь нашего общего с Иваном предка, князя Печко-Балконского. Понял? Тот всей деревне девок портил, а детей называл Печками, мы же, законнорожденные, назывались Балконскими...

— Брехня интеллигентская, — буркнул маршал, — деда твоего в честь балкона прозвали, а я из обычных крепостных...

— Дурак ты, Ваня, — не поворачивая мраморной головы, отвечал Устин Тимофеевич, — сколько раз я тебе говорил, чтобы не стеснялся ты своего дворянского происхождения. Уже давно нас, благородных, дворянством не упрекают, и в партию принимали безо всяких... Ладно, слушай дальше, Добролюбов, и понимай: все люди братья не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле! Потому что мужики от века блудили и сейчас блудят, и кто в результате этого разврата кем кому приходится — это один только Бог знает, да еще мы, кто уже спецкнигу прочитал, ясно тебе? Вот ты насчет Ани интересовался, моей покойной вдовы... А хочешь, я тебе всю правду скажу?

— Хочу, — вздохнул Добролюбов, уже чувствуя, что разговор этот ничем хорошим не кончится, и даже жалея, что ввязался в беседу с мертвецами.

— Ну, так слушай, — памятник встал в свой полный высокий рост и загремел,

и каждое слово камнем падало на голову несчастного пенсионера. — Анечка моя, открою тебе секрет, будучи тогда юной дамой и мне женою, изменила супружескому долгу с неким Ивановым, от этой связи родился мой сын Тимофей, ныне известный деятель современной культуры, кем же еще ему быть, а названный Иванов — не припоминаешь? — угодил заслуженно в исправительно-трудовое учреждение, где познакомился с женою... ну, вспомнил? именно так, с Лаурой твоею, от чего и произошел в скором времени твой сынок Иван, который хотя и Иван, но к маршалу прямого отношения не имеет, а вот моему обалдую приходится полубратом, что нетрудно заметить и по внешности, Иванов же этот впоследствии погиб при сомнительных обстоятельствах и похоронен в колумбарии на Донском, а Аня померла тоже, однако предварительно спилась до того, что после смерти время от времени покидает здешний покой, чтобы у какого-нибудь грязного ларька хватить сто, а то и сто пятьдесят грамм, так что иногда ты ее можешь встретить среди живых алкоголиков где-нибудь в районе метро «Брюханово», знаешь этот район, где твой сын дом до неба строил да не достроил, а Иванов, между прочим, был на борту ковра, сбитого нашим маршалом, но в тот раз уцелел, а мы с тобой, значит, доводимся друг другу вроде бы кумовьями через наших, но чужих сыновей...

Тут, конечно, Добролюбов, хоть и отставной офицер, с тихим хрустом и без ма-

лейшего сознания повалился на гравийную кладбищенскую дорожку. А над лежащим в обмороке человеком долго еще грохотали слова истукана: «Все люди — братья и сестры, дядьки и тетки, любовники и любовницы! К вам обращаюсь я, друзья мои...» — видно, и покойник слегка тронулся умом.

А Эдуард Вилорович, придя через некоторое время отчасти в себя, предпринял ряд серьезных шагов.

Первым делом поехал он в Донской монастырь, разыскал в стене колумбария нескольких Ивановых и аккуратно на каждую доску с фамилией наплевал.

Затем, в вечернее время, когда внуки уже спали, невестка смотрела ток-шоу, а сын где-то отдыхал с друзьями, Добролюбов подступился к шее супруги с голыми руками. Однако Лаура Ивановна не растерялась: налила мужу валокордина, вдогонку дала новопасита, так что вскоре Эдуард Вилорович уже дремал на краю, как всегда, кровати и только неразборчиво повторял во сне «вот блядь, вот блядь».

Наконец, отчаявшись установить запоздалую справедливость, несчастный решил хотя бы проверить истинность трагических обстоятельств. Для этого он добыл журнал телепрограмм с фоторепортажем из жизни Тимофея Болконского (давно изменившего к лучшему одну букву в наследственной фамилии), клипмейкера и политтехнолога, светского мужчины. Затем Добролюбов потихоньку взял фотографию сына, сделан-

ную во время отдыха на острове Мальта, и приложил к журнальной странице... О, ужас! Два совершенно одинаковых лица смотрели на беднягу. Еще, для пущей очевидности, у них и прически были одинаковые, под ноль по моде, и бородки — только у Вани шкиперская, в честь однофамильца, а у Тимы испанская, популярная среди политтехнологов.

Сомнений больше быть не могло.

Надежд не оставалось.

И мечта окрепла, сделалась единственной — оживить, оживить вечно живого ради хотя бы всеобщей справедливости, которой не пришлось на личную долю Добролюбова Э.В. Обманула индивидуальная судьба отставного надзирателя, обидела — так пусть же в масштабах человечества в целом восторжествует добро и счастье по заветам великого Ленина и под его же личным руководством!

Ах, мечты, мечты... Большая от вас беда.

Ночь пала на город, плывут в прожекторах башни и купола, темно-серебряные тени облаков несутся в сине-черном небе над площадью, спят все и по ту сторону стены, и по эту — а мечтатель не спит.

Вот гулко шагает он в пустом пространстве, с опаской минуя огромную человеческую голову на Театральной — того и гляди, разинет идол скрытый в густой бороде рот да гаркнет: «Ученье мое, блин, всесильно, потому что верно, подлецы! Забыли? Вот я вам...» От памятников-то теперь всего ожидать можно...

Вот косится на скачущих с крыши коней — а ну, как стопчут? Эх вы, кони мои, как говорится, привередливые...

Вот крадется между железных ограждений, шаркает осторожно по мощеной выпуклости, подбирается к черным, наглухо сдвинутым дверям — и того не понимает, безумец, что нельзя тревожить вечность, что непереходимой должна быть черта меж метафорой и реальностью, что нельзя приравнять к неживым. Ужо встанет! Размежит серые веки, глянет калмыцкими желтыми глазами, возьмет в бледный левый кулак рыжую бороденку, сунет большой правый палец в пройму жилетки... Ну-с, батенька, г-гассказывайте, что там, в массах? Как настг-гоение г-габочих? Тут-то и обосрешься. А не надо было будить спящего, пусть уж лежал бы себе под стеклом тихонько, если похоронить по-людски все не соберем. Не буди лиха... Но не внемлет рассудку Добролюбов, да и чему он будет внимать, коли рассудок покинул его навеки? Последние крохи ума остались на проклятом Новодевичьем, пуста голова, только стук в ней отдается от шагов по брусчатке да перекачивается высушим ядрышком ореха одна идея — оживить...

Вот с напряжением всех физических сил и применением заранее приготовленной фомки раздвигает он тяжелые черные двери, нет караула, давно устал и отпущен караул, входит, кто хочет, в святыню пролетариата...

Вот освещает взятым из сыновнего охотничьего снаряжения полицейским фона-

рем нутро капища — страшно тут, ох страшно. Тени шныряют по углам; багровые ткани драпировки кажутся в полутьме черными; какие-то крыла в невидимой подпотолочной высоте вроде бы простираются и тихо хлопают, гоняя по зале ветер, полный слабых ароматов тлена и пыли; шепоты вроде бы шелестят, скопившиеся от всего прогрессивного человечества; невидимые руки, липкие и холодные, прикасаются к плечам, передавая озноб всему организму; легкая паутина садится на лицо с мерзким щекотанием...

Вот луч света падает на стекло, вспыхивает стекло синим огнем, и сквозь этот огонь проступают дорогие каждому человеку доброй воли черты — костяной лоб макроцефала, булыжные скифские скулы, коричневая барабанная кожа щек, бледно-серая бульба носа, желтые волосенки бороды и усов. Спящий ты наш красавец!..

Вот взлетает верная фомка и безо всякого результата опускается на стеклянную броню, но не так-то прост старик Добролюбов, все предусмотрел: после пробного удара переходит к планомерным действиям, рекомендованным инструкциями для добрых молодцев, желающих разбудить царевну, то есть крестится немеющей в проклятом помещении рукою — да хрясь богатырским кулаком по хрусталу! И распадается спецматериал в мелкие брызги и дребезги...

Тогда подошло время целовать.

Вблизи кожа поразила крупностью и глубиной пор, характерными для людей с не-

правильным обменом веществ. Это показалось тем более странно, что обмен-то прекратился восемьдесят лет назад.

Пахнуло летучей химией, словно после подбривания бородки мужчина воспользовался не лосьоном «Нивея», а растворителем для лака или примитивным пятновыводителем.

Покровы встретили прикосновенье губ деревянной твердостью.

Мурашки, прошмыгнув по всей спине, ушли через подошвы в гранит.

И сбилось.

Труп сел, огляделся, не поднимая темных век, перекинул ноги в шевиотовых брюках через борт каменного корыта и с ловкостью опытного велосипедиста спрыгнул на пол.

Что ж, дог-гогой мой Добг-голюбов, ведите. Как говог-гится, вяжемся, а там посмотг-гим.

Вот ужас-то!

Ястребиною лапой вцепился упырь в добролюбовское плечо, и пара, шагая в ногу, вышла на площадь.

Кровавым пламенем сверкали с башен звезды, робко поблескивали на Иверской орлы, скрылись во тьме осеняющие Казанскую Божью Матерь кресты, тускло отсвечивала до самого Василия Блаженного мощеная поверхность, и единственной опорой жизни сияло со стороны ГУМа популярное дорогое кафе.

Во мгле Г-госсия, во мгле, товаг-гищи, удовлетворенно отметил выползень, вертя

головой, во мгле, дг-гузья, несмотг-гя на буг-гжуазную мишуг-гу.

Многочисленная для столь позднего часа толпа поднималась на цыпочки, чтобы рассмотреть гения человечества. Покойники, собравшиеся здесь, все были более или менее нам знакомы:

и великий московский бабник Иванов, сгоревший некогда в огне страсти,

и пожилая красавица Анна Семеновна Балконская, умершая от возраста и водки, пьяноватая по обыкновению даже в посмертном состоянии,

и несколько лет назад погибший в автокатастрофе бандит Руслан Абстулханов, вы наверняка его помните, конкретный был пацан,

и бывший подполковник воздушно-десантных войск Капец И.А., повредившийся от несчастной любви умом и по ошибке рухнувший при полете на парашуте,

и знаменитый политик N, скончавшийся в результате несчастного случая от декапитации (отрубления головы) крышкой автомобильного багажника,

и зачавший от пневмонии незаметный железнодорожный человек Острцов, которого вы не разглядели, хотя много раз смотрели на него сквозь вагонное окно, проносясь мимо в скором поезде,

и маршал Печко Иван Устинович, отдавший в давние годы зенитчикам приказ сбить мирный ковер-самолет с пассажирами на борту, а впоследствии померший от обиды на начальство, которое в важный мо-

мент затаилось, его же выставило людоедом, сбивающим по собственной инициативе ковры-самолеты с людьми,

и всемирно известный борец за человеческие права Леонард Сурьянович Хвощ, который, между прочим, был как раз на том самолете, но уцелел, а умер совсем недавно и совершенно бесшумно от обычной болезни, будучи почетным инакомыслящим Российской Федерации с президентской персональной пенсией,

и автор национальных стихов Устин Балконский, скончавшийся во благовремени, славе и всеобщем почтении еще при прежней советской власти, оставив немедленно утешившуюся вдову, вышеупомянутую Анечку Балконскую,

и неведомый гражданин Волков, покушавшийся, в соответствии с фамилией, на старушку, но ликвидированный, как полагается в сказках, по наводке девицы в красной шапке охотниками, — словом, множество мертвых персонажей, встречавшихся нам в разное время и составивших то человечество, которое при жизни населяло да и после своей кончины населяет просторы нашей с вами страны, удивительной и непостижимой. Разве важно, что кое-кто из нас кое-кого из них немного подзабыл, а некоторые и вовсе никогда не знали никого из перечисленных выше? Ну, так других знали, таких же, это ж народ наш русский, нам ли он незнаком! Это ж наши люди, полумные и мудрые, беспощадные и сердечные, несчастные и веселые, душевное наше

население, только его неживая часть. И мы среди них — как рыба в стае, хотя еще временно и не упокоившиеся.

Я вам так скажу: не гнушайтесь умершими, господа. Вон их сколько, куда больше, чем нас, живых-то! На первый взгляд и не отличишь, и тени отбрасывают они за милую душу, это все предрассудки насчет теньей. Закройте глаза — видите? Хлынули в память толпой, населили сновидения, все тут как тут... Утешьте же их, скажите, чтобы не расстраивались, они с нами, покуда мы здесь, а придет время и нам туда отправляться — так настанет черед детей наших хранить в себе всех, кто переменил постоянное место жительства на вечное.

...Гражданские захлопали в ладоши, встречая вышедших из Мавзолея, а маршал Печко и отставной подполковник Капец отдали честь поднесением рук к головным уборам. Тут же между призраков протиснулся Конек-Горбунок в красной с серпом и молотом кольчужной попоне, подставил спину вождю, и тот взгромоздился на живой броневик, подсаживаемый под ледяную даже сквозь штаны задницу Добролюбовым.

— Товаг-гищи, — сразу закричал оратор, привычно позируя для памятника в позе ловца такси, — безобг-газие, о котог-гом твегддили большевики, свег-гшилось! Я умег-г, но тело мое живет и даже кое-где болит — отлежал, товаг-гищи! Тепег-гь надо быстг-генько взять мосты, вокзалы, почту и телег-ггаф, а дальше само пойдет! Долой живых,

товаг-гищи, вся власть мег-гтвому пг-голет-таг-гиату...

А конь уж скакал по камням, сотрясая копытами спящий град, искры сыпались, вой и хриплые крики неслись, и бедный Добролюбов, спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь на разбитые до крови ноги, мчался следом, к восстановлению и торжеству попранных ленинских норм, в светлое царство любимого им добра, добра и справедливости, в царство мертвых, где нет ни болезни, ни печали, ни вдоха, а только бесконечная жизнь.

Когда его хоронили, сын, Иван Эдуардович, очень переживал, хотя чего ж убиваться — пожил старик, и неплохо пожил, особенно под конец. Но Ваня сильно расстраивался, все повторял «батя, эх, батя», а вернувшись с нового Кунцевского кладбища, где за хорошие деньги купил для семьи участок, и крепко на поминках выпив, изодрал в клочки свежий номер еще приходящей по подписке народно-патриотической газеты «Советская Россия», кинул в камин ни в чем не повинные воспоминания Жукова вместе со сказками великого Пушкина и заплакал в голос: «Что ж ты, батя, с мертвяками связался? Утащил тебя твой Лукич, когда уж только зароят его!..» И в этом мы вынуждены с Иваном, хотя он и нетрезв, согласиться — тела, из которых душа отлетела, какой бы она, душа эта, ни была, пусть даже самой черной, следует земле предавать, а не выставлять для всеобщего смущения. И не след людям по собственной воле шляться

между миром живых и вселенной мертвых, это не игрушки.

Хотя лично автор, как уже было сказано выше, к покойным гражданам относится хорошо, с уважением и сочувствием.

Однако как-то грустно все, грустно, а, господа? Вам не кажется? И почему так тяжело на душе — кто знает...

История, которую мы теперь собираемся рассказать, в отличие от других наших историй, не выдумана собственными силами, а дошла до нас через третьи, четвертые и еще черт знает какие руки. Хотя, конечно, нельзя так выражаться — «история дошла через руки»... Но более подходящие слова мы подобрать не можем, спешим все выложить, прямо горит, так что уж извините.

Короче.

Жил в Москве молодой мужчина Тимофей Устинович Болконский, деятель актуальной культуры. Происходил из семьи знаменитой — ну, сын того Устина Балконского, который «Песня о правительстве», только писался Тимофей через «о», это постепенно произошло в рамках восстановления исторической правды. Да и сам был знаменит, красив и здоров, хорошо обеспечен. Жена прямо как топ-модель, дети одаренные в Англии учились, дом по хорошему шоссе, друзья — чего не жить? То фильм культовый снимет, то клип залудит, то политическую программу какую-никакую напишет для нуж-

дающей партии... Ум его, острый, блестящий и быстрый, как разбойничий нож, был востребован современностью. Голову, скрывающую этот ум, Тима брил наголо, как положено модой, бородку носил маленькую, популярную среди диджеев и имиджмейкеров. Пользуясь такой привлекательностью, бывал иногда близок (но не в ущерб семье, что вы!) со светской красавицей Олесей Грунт, тоже широко известной по фотографиям в журналах, не гнушался и мужской дружбой — к примеру, с ныне уже покойным Русланом Абстулхановым, про которого некоторые без доказательств говорили, что бандит, или с держателем модных клубов, продвинутым юношей и депутатом Володичкой Трофимером... Ну, тусовка понятна.

И вдруг сделалось Тимофею скучно. До того скучно, что хоть в петлю головой, ей-богу. И грустно очень, даже плакать принимался иногда, если никто не видел. Сидел один в малой каминной, за окном пейзаж отечественный — невеселый, надо признать, пейзаж, снег с дождем, но это ж не повод — и всхлипывал, даже трясся весь.

Отчего это так бывает, а? Живет себе человек, все у него прекрасно, а свербит что-то внутри, как будто грибок души подхватил, и никаким ламизилом не одолеешь. Некоторые начинают водку жрать, другие подсаживаются на что-нибудь покруче, но ведь не помогает же! Сам уже пьяный в грязь или обдолбанный, извините, а все равно тоскует.

Объяснение одно: все мы русские люди, это духовность в нас томится, соборности жаждет.

Однако это объяснение неудовлетворительное, поскольку имеется обширная информация об аналогичном положении в совершенно других странах. Вот, пожалуйста, Швеция по самоубийствам идет с большим отрывом — там что, русские люди живут? В Нью-Йорке если кто не ширяется, так нюхает, причем не одни черножо... в смысле афроамериканцы, а вплоть до белых адвокатов и врачей — это что, русский народ?

Нет уж, не надо нам великодержавной гордости, не гоните нам про загадочную нашу душу, душа как душа. Просто мается всякий человек, смерти боится, одиночеством страдает. А заорать на весь мир — люди добрые, Христа ради пожалейте сироту, страшно мне, погладьте меня, бедного, утешьте! — вроде бы неудобно, не маленький ведь. И некого обнять, прижаться не к кому, захныкать, все сами боятся, каждый поодиночке, и близкие-то оказываются, как до дела, дальше далеких, а Бог...

Что ж Бог? Не умеем мы с Ним говорить, не научились, дураки, вовремя, и уж научимся ли — Он один ведает.

Врачи же знай от депрессии лечат американским лекарством ксанакс. Оно, конечно, приличных денег стоит, но ведь не помогает, зараза!

Тяжело.

В результате Тима плюнул на все и уехал в Канаду. Даже сам не заметил, как это про-

изошло, только вдруг очутился посреди города Торонто стоящим на центральной Янг-стрит. То есть на улице Молодежной, попросту говоря.

Чего его сюда понесло? Ведь и тут все то же, и небо над Канадой никакое не синее, а белесо-серое нормальное небо, чем и похоже на Россию, и ветерок тоже задувает неуютный, единственное отличие — население шпарит в одних пиджачках и курточках легких, как подорванное, по бесконечной своей улице, вперемежку застроенной небоскребами и двухэтажными кирпичными бараками...

Тима постоял, огляделся. Взгляд его упал на вывеску, на которой надпись Table dance была дополнена изгибающимся женским силуэтом. В голове много уже повидавшего, но все еще романтического славянского мужчины возникла сцена загула с цыганщиной: буйно пляшущая меж рюмок и тарелок Кармен в алой юбке и черном корсаже, звон гитар, клики пирующих... Он вошел в узкую дверь.

За дверью оказалась пыльная тьма, в которой Болконский с трудом рассмотрел стеклянную будку кассы. Исколотый серьгами и стальными булавками юноша-кассир продал вошедшему за десять туземных дешевых долларов билетик, и русский исследователь углубился в темноту. Постепенно он начал различать окружающее и увидел вполне заурядную картину: плохо освещенную тесную сцену, на которой вокруг шеста гнулась голая девушка, отделенные один от

другого невысокими стенками маленькие столики с одним стулом перед каждым, дальний бар... За некоторыми столиками сидели мужчины, и перед каждым изгибалась, только без шеста, самостоятельно, отдельная голая. Тиме стало ясно, что означают стол и танцы, обещанные вывеской, но покинуть сразу убогий блядешник показалось глупым, и он присел с краю. Тут же подошел официант, весь, как и кассир, в серьгах, отобрал билетик и поставил перед клиентом бутылочку пива, а следом явилась обнаженная дама, предупредила в пространство «доунт тач» и принялась двигать животом, высоко поднимая ноги как раз на уровне глаз Тимофея, примерно в пятнадцати сантиметрах от них. На всякий случай он, как мальчишка, сунул ладони под собственную задницу...

Скажите, не безобразие ли? Человек в свой внутренний мир погружен, ведет там с самим собою страшную войну на истребление, а ему суют под нос глупости. И суют безо всякого внимания к его индивидуальной личности, деперсонифицированно, как сказал бы продвинутый Трофимер, слышавший даже про философа Дерриду. Вот оно, отчуждение, вот превращение человека в функцию и прочая херня, в существование которой не веришь, пока тебя самого не достанет! Пока крепко сложенная тетка без трусов не начнет корячиться перед тобою, глядя в дымную мглу поверх твоей головы.

Тима вышел на ту же Янг-стрит, подивился, что на воле все еще белый день, и, заку-

рив зачем-то, побрел понемногу к дальнему и узкому уличному горизонту. Номера домов перевалили за тысячу, толпа на тротуарах сделалась к концу рабочего времени еще гуще, и через некоторое время герой наш стал замечать некоторую странность ситуации. Возникло у него ощущение, что он спит на ходу и видит обширный, полный деталей сон — будто идет по улице, разглядывает архитектуру и прохожий люд, но при этом сам в картине вроде бы не присутствует, выступая, как обычно случается во сне, в роли наблюдателя, не способного повлиять на происходящее, даже бесплотного. И то сказать: откуда ж может быть во сне плоть? Болконский задумался над природой странного психологического явления и, задумавшись, едва не налетел на встречного господина, однако господин от столкновения уклонился чрезвычайно ловко, не сделав ни единого шага в сторону, но каким-то образом избежав контакта. При этом он улыбнулся в дальнюю перспективу мимо Тимофея и произнес, адресуясь в перспективу же, положенное «экскьюз ми».

Тут-то Тиму и осенило. Он сообразил, почему прогулка по заокеанскому городу Торонто кажется ему сном, заодно вспомнив, что похожее состояние возникало у него и раньше в зарубежных поездках. Никто его здесь не узнавал, вот причина! Дома, в Москве и даже в России, когда ему приходилось по нечастым надобностям выезжать из столицы в страну, на него все смотрели и определяли в нем Тимофея Болконского,

звезду. Телевизионная слава всегда сияла вокруг него, словно ореол или, Господи прости, нимб, и народ шептал друг другу знакомое имя, подталкивая друг друга и незаметно показывая зазевавшимся — вон, гляди кто, узнаешь? да не похож, а тот самый и есть, вон и борода, и стриженный... Так бывало, когда его, давно забросившего автомобиль и рассекавшего, в соответствии с текущим трендом, на двадцатитысячном мотоцикле «хонда», узнавали (несмотря на шлем, надо же!) соседние в потоке водители; то же самое, естественно, происходило и во время редких пеших прогулок; и за несколько секунд пересечения тротуара от обочины до дверей лидирующего в сезоне клуба; и в битком набитых залах аэропортов, и в безлюдных бутиках... А за границей его никто не знал, никто не смотрел ему в лицо с бешеным, ненасытным интересом, никто не оглядывался, чтобы удостовериться, и оттого появлялось ощущение собственной невидимости, вот что.

В меру начитанному Тиме захотелось, подобно другому литературному персонажу — женщине, впрочем, — завопить «невидим!», а потом что-нибудь шкодливо расколотить. Но он опомнился и, решив без хулиганства проверить свою гипотезу другим способом, зашел в большой универсальный магазин, где принялся бродить по сверкающим и благоухающим пространствам, снимать со штанг различную одежду, рассматривать ее и возвращать как попало, не на место. В ходе этого пустого, но увлекательного заня-

тия он окончательно уверился в своей прозрачности для аборигенов — никто на него не обращал решительно никакого внимания, продавцы не подходили с настойчивым предложением помощи, как это заведено в дорогих отечественных предприятиях торговли, ходил себе в полнейшем одиночестве, только каблуки стучали по мраморным звонким полам. Впрочем, надо отметить, что продавцов вообще не было в залах, как и покупателей...

Таким образом, в поисках своей, как выразился бы тот же Трофимер, идентичности, провел задумчивый иностранец на канадской земле несколько дней. Шатался километр за километром по сильно надоевшей улице, поворачивал без цели за угол и тащился довольно мрачным переулком, где не было ни одной живой души, только браунстоуны слепо смотрели пыльными окнами, прислонялся ради кружки местного посредственного пива или стаканчика такого же виски к стойке случайной забегаловки — и везде ловил взгляды, скользившие мимо него, а иногда, как ему казалось, просто сквозь него.

Однажды утром, окончательно истомившись, отправился обозреть знаменитый водопад — что ж, водопад оказался действительно стоящим, он был шире, чем представлялось, и к тому же по зимнему времени замерзшим. Зеленые струи стояли невообразимой рифленой стеной, японские туристы, как положено, фотографировали мировое чудо. На попадавшего в кадр евро-

пейца они не обращали никакого внимания, лишь один, совершенно недвусмысленно попытавшись пройти сквозь Тиму и налетев на препятствие, улыбнулся всеми зубами и закивал, не глядя, однако, Тимофею в лицо.

Тогда уж Болконский действительно расстроился.

Он быстро вернулся в отель,
миновал лобби с механическим пианино,
клавиши которого жутковато шевелились сами собой, будто на нем играл тоже невидимка,
вместе с очередной партией японцев, все время норовивших занять угол лифта, где он стоял, поднялся на свой этаж,
в номере кинулся к зеркалу —
и, уже почти готовый к этому, увидел пустоту.

Сидя на широкой гостиничной постели, несчастный пытался логически осмыслить кошмар. Прежде всего стало совершенно очевидно, что речь должна идти не о каком-то чисто психологическом феномене, связанном с пребыванием в чуждой обстановке знаменитости национального масштаба, но об аномалии физической. Сильнее всего он грешил на гель для душа, запасы которого в ванной ежеутренне возобновлялись горничной-вьетнамкой. Запросто можно было этим дьявольски пенившимся гелем смыть свое земное тело, и хорошо еще, если астральное не пострадало! Тем более, что кожа вообще чувствительная, бородку триммером подравниваешь, и то раздражение бывает... Вот сука, неизвестно про кого

подумал бедняга в отчаянии и снова пошел к зеркалу.

Бессердечное стекло опять зафиксировало отсутствие Тимофея Болконского в том месте, откуда он смотрел. Ёб твою мать, грубо и бессмысленно заорал работник российских искусств в канадской душевой ванной, и его можно было понять — другой и не так заорал бы. Крик резко оборвался в тесном помещении, стало слышно, как за стеной в соседнем номере плещется вода — видимо, какой-то японец решил помыться между экскурсиями. Тима смутился, не подумав, что мат, даже будучи услышан посторонним, вряд ли был бы им, японцем этим, понят.

Болконский вообще уже не очень хорошо соображал, но сумел взять себя в руки. Он привлек все навыки опытного путешественника, нередко перемещавшегося по странам и континентам почти бессознательно, поскольку в самолетах, как принято среди нашего брата, не отказывал себе ни в чем, и проделал вполне разумные действия. За короткое время ему удалось зарегистрировать по телефону обратный билет на ближайший рейс через Цюрих, запихать в сумку вещи, заплатить портье за выпитое из мини-бара и с помощью портье же вызвать такси, доехать до аэропорта, без какой-либо мысли разглядывая мосты, эстакады и индустриальные ангары за окнами машины, найти нужные ворота, пройти суровый антитеррористический досмотр и влиться в очередь соотечественников, привычно организовавшихся для посадки.

...Интересно, что ни портье, ни таксист, ни чернокожий офицер безопасности на невидимость не реагировали — обучены были не удивляться чему бы то ни было или видели то, что другим не дано...

В аэропорту, среди своих, с любовью и раздражением слыша со всех сторон родную речь, понимая даже невнятные слова, произносимые с привычно скандальной, независимо от смысла, интонацией, видя напряженные и невесть чем жутко озабоченные лица, он было почувствовал себя лучше. Естественно, из двух сотен будущих попутчиков тут же нашлось полдесятка знакомых, одному кивнул издали, другому рукой помахал, третьему просто улыбнулся поверх голов... И очнулся, вспомнил свою отчаянную беду: никто ему не ответил, смотрели в упор, как на пустое место.

Вы попытайтесь сейчас представить этот ужас.

Подойдите к зеркалу, взглянитесь...

Видите?

Теперь вообразите, что там нет ничего.

Ничего!

Лица вашего единственного нет. Щетины стильной нету, если вы мужчина, или усов, допустим. Вчера окрашенных в хорошем салоне волос нет, если, напротив, дама. Мелких сосудиков, которые, к сожалению, уже проявились на носу и вокруг, тоже нет, сколько ни придвигайся к стеклу, сколько ни присматривайся. Свежей рубашки, только что надетой после глажки, или сережек с маленькими, но милыми камешками, пода-

ренных близким другом на прошлый день рождения, — нет.

Умом не двинулись?

К слову сказать, больше всего бесила Тимофея невидимость верхней одежды и других размещенных на нем предметов. Ему каким-то странным образом казалось, что найти объяснение телесной невидимости можно, всплывал пресловутый гель, мелькало даже детское слово «колдовство»... Но понять, а тем более принять полную прозрачность приличного костюма с хорошим лэйблом, соответствующих часов и прочего барахла он никак не мог. В конце концов, хоть это и отдает жлобством, возникает практический вопрос: за что плачены немаленькие деньги? Отчасти удовлетворило прозрение, посетившее где-то над серединой Атлантики, — невидимым делается все, к чему он прикасается руками, если одновременно к этому не прикасаются другие люди. Вот поручню аэропортовского эскалатора ничего не сделалось, а прекрасная брауновская электробритва исчезла из виду, гадина, как только он ее взял с подзеркальной полки, чтобы положить в сумку.

У его безумия, как и у всякого, была железная логика.

В самолете он занял место возле окна в одном из задних свободных рядов — не хотелось, чтобы кто-нибудь плюхнулся на колени. Российские граждане, как только им позволили отстегнуться, начали бродить по проходу, искать компанию под дешевую выпивку в пластмассовых фляжках из дьюти-

фри. Курить на борту не разрешалось всю дорогу, люди страдали и потому пили еще ожесточеннее. Он принял из широкого пластикового горла свои полфляжки скотча — невидимого, черт! — и с неожиданным аппетитом съел ужин, без колебаний поставленный перед ним стюардессой, весь обслуживающий персонал его замечал как ни в чем не бывало. Горе отпустило, он начал дремать, время от времени просыпаясь и глядя из тусклой полутьмы спящего салона в яркую тьму небес.

Там, в сине-черной пустоте, острой сталью сверкали звезды, и этот небесный пирсинг напомнил ему сначала о кассире и официанте похабного канадского заведения, а потом неожиданно утешил измученное сердце истинно неземною красотой. Как всякий глядящий в ночное пространство, он стал думать о смерти, по сравнению с которой исчезновение видимых примет существования не так уж и страшно, о вечности и тому подобных вещах.

И Болконского, как некогда бывало с другим мыслителем, в который уж раз поразило звездное небо над ним и нравственный закон внутри него.

Особенно нравственный закон.

Если мне, когда я был еще нормальным, видимым, думал Тимофей, все время чего-то не хватало, если у меня ныло внутри, а из глаз ни с того ни с сего лились слезы, так ведь это ж как раз внутренний закон во мне и бушевал. А кто ж его в меня вложил, этот закон? Не Тот ли, Кто черно-синий метал-

лик за самолетным окном истыкал звездными иглами, Кто гонит по этому фону серебряные туманности облаков, Кто держит нас в ледяном страхе неведения, скрывая будущее и наполняя память прошлым, Кто томит нас отчаянием и надеждой, терзает желаньями и смиряет усталостью?

Господи Иисусе Христе, думал Тимофей, Сыне Божий, прости мя, грешного.

Конечно, вы уж давно удивляетесь всему происходящему. С какой это стати, возмущаетесь вы, заурядного московского тусовщика посещают такие глубокие переживания? Не может быть, чтобы эдакой пустой (как и все они, нынешние) личности были ведомы духовные искания и муки. Выдумка это все авторская, художественное измышление.

Что на это ответить... Можно, конечно, просто послать в самое начало рассказа, где вам ясно было сказано: сущая правда, из проверенных источников, никакого вымысла. А можно и пуститься в объяснения, в аргументацию... Хорошо, извольте получить дискуссию.

Итак, хорошо ли вам известен внутренний мир окружающих вас людей, различных социальных типов, живущих одновременно и рядом с вами? Вот, к примеру, работает сейчас на евроремонте с выпрямлением стен вашей квартиры украинская бригада из города Никополь. Общаетесь вы с этими народными мастерами едва ли не ежедневно, неоднократно посещало вас и опрометчивое желание покончить со всеми проблема-

ми разом, ремонтников зверски убив строительным инструментом, а квартиру подпалив... Ладно. Но задайте себе вопрос, много ли вы знаете о них, об их человеческих сущностях? Да ничего не знаете, кроме того, что они халтурщики и хитрованы, что выданные им на дополнительные материалы деньги исчезают безо всякого следа, а на все вопросы бригадир отвечает однообразно «уже ж грошив немає» и ласково улыбается. Ну, и что? Поручитесь ли вы, что нет среди них мечтателей и оригинальных мыслителей? Что долгими ремонтными ночами, томясь без сна на криво уложенном ими же паркете, не размышляют они о высшем своем предназначении, не плачут беззвучно над исчезающей жизнью, не обращаются к горнему от земного? Если поручитесь, то обнаружите тем собственную поверхностность и легкомыслие, но ведь не поручитесь же, слава богу.

Или, допустим, останавливает вас на трассе инспектор ГИБДД старший лейтенант Профосов Н.П., отдельный батальон ДПС. Все как положено — куртка и штаны толстые синего цвета, фуражка красивая немислимой высоты, безрукавка салатная со светящимися полосами, лицо полное, государственное... Так что же? Станете ли вы утверждать, что за официальным этим лицом не скрывается ничего, кроме физиологической потребности снять бабки с любого проезжающего? Побьетесь ли об заклад, что никогда не испытывает Николай Петрович сомнений во всем сущем, не жаждет

высшего смысла и нетленной красоты, не взыскует покоя и воли по завету классика, пусть ему лично и неизвестного? Не станете и не побьетесь, потому что вы ведь не глупый человек и осознаете неисчерпаемую сложность всякой Божьей души.

Вот то же самое и с менее почтенными персонами — с деятелями, предположим, современной культуры, мастерами пиара, умельцами рекламного креатива, просто понтырящиками без определенных занятий, даже, тьфу, прости и помилуй, с политтехнологами. И они люди, и в них живые сердца бьются, ворочаются, болят. По виду-то он настоящий VIP, а копни поглубже...

Между прочим, это I в середине не обязательно значит Important — не хотите ли Invisible? Совершенно Невидимая Персона.

То-то же.

А что касается Тимы Болконского, то он прилетел благополучно на родину и теперь ведет здесь совершенно иную, чем прежде, в видимом виде, жизнь.

Поначалу он, конечно, еще надеялся вернуться к привычному образу существования — ходил по вечеринкам, пару раз с Олесей Грунт созванивался, но все без толку. Подходит, например, к Володичке Трофимеру, дружку старому и соратнику, хочет его обнять, а тот смотрит красивыми глазами сквозь и кому-то другому улыбается. Олеся по телефону обрадовалась, прибежала, как договорились, в их любимое местечко, в «Отстой-галерею», где обычно вся богема зажигает, но не получилось свидание: Бол-

конский руки распахнул, идет к барышне с объятиями, а она головой крутит и подружке говорит озабоченно: «Что-то Тимки не видно...» Тимофей со злости решил надраться, пошел искать компанию. Ткнулся к Сене Белоглинскому (марганец), а тот мимо прошел, взял за рукав N из федерального комитета по понятиям, но и N в упор приятеля не увидел... И ладно бы за границей, там все равны, но в отечестве, где каждая собака знает! Черт-те что... При чем уж тут гель.

Одно осталось бедняге удовольствие из любимых — на аппарате своем двухколесном отрываться, однако здесь его уж и вовсе кошмар настиг, даже описывать жутко... Ну, значит, ехал он однажды на своей «хонде» по Кутузовскому, отдыхал под ветром, не думал ни о чем. Вдруг, можете себе представить, нагоняет его ржавая помойка, «пассат»-универсал старый, и высовывается из окна, не поверите, настоящий скелет, с длинными зубами и дырками вместо глаз! Ничего себе? И вот этот чертов покойник сдирает Тиму с седла, так что байк без седока улетает вперед и прямо под мусоровоз, блин, представляете, в труху, а Тимофей получает непосредственно в фэйс со всей дури плевок мертвыми слюнями, это, значит, жмур его реально оприходовал. Как вам?! Короче, еле вырвался несчастный из костяных пальцев, кувыркнулся, полежал на траве, а как до дому добрался — убей не помнит. Час мылся, пока могильный запах-то смыл, потом заперся у себя наверху, в кабинете,

лег на диван оскорбленным лицом вниз, а в голове одно: «Сам чертом стал, вот черти и лезут». Совсем дошел уже, значит.

Хотя, между прочим, зря так переживал, как раз в то время машина с мертвецами часто появлялась на дорогах, от нее многие пострадали. Тот же Абстулханов Руслан — помните? — вообще трагически погиб, и политик N не уберегся, полетела его светлая голова при невыясненных до конца обстоятельствах, и легкомысленную в целом Олесю напугали проклятые до икоты, так что она сразу улетела куда-то на острова отвлечься, и даже вышеназванный старший лейтенант Профосов из-за скелетов получил психическую травму и неполное служебное с последующим увольнением из органов — словом, наделали гады шороху по Москве.

Но герой нашего повествования решил, что все было направлено лично против него, и совсем расстроился.

Стал он после этого жить тихо, в своем подмосковном доме, в семье. Домочадцы — возможно, будучи как бы своего рода обслуживающим персоналом, для которого не существует чудес, — прекрасно его различали, он для них был видимый, как будто ничего и не изменилось, хотя на самом деле изменилось многое. Например, брился Тима теперь редко, отчего маленькая его фасонистая бородка превратилась в пегую неровную бороду, а на голове обнаружилась порядочная плешь, вокруг которой шевелились в воздухе длинные и тонкие, как у пожилого

человека, волосы. Так что стал похож недавний модник на сумасшедшего профессора из какого-нибудь фантастического фильма, обычно такой профессор изобретает счастье человечества, а негодяи его используют в своих негодяйских целях. Новый образ Тимофея семейству даже нравился, жена смотрела на него с жалостью, через которую, как известно, женский российский характер проявляет истинную любовь, дети, приезжая на каникулы из Англии, гладили его по лысине и добродушно шутили.

Зарабатывал физически и морально переродившийся, но сохранивший профессиональный опыт Болконский консультациями — приезжали к нему люди современных творческих профессий, а он для них придумывал разные вещи, например убойный рекламный слоган, или улетное название для нового проекта, или отпадные слова для песни, которая обязательно должна стать любимой населением... Знаете песню «Тю-лю-лю, тю-лю-лю, мальчик, я тебя люблю»? Вот, это Тима придумал, скажите, класс? Уже полгода в тяжелой ротации на всех волнах... В сущности, его внешность вполне соответствовала занятиям, он действительно сделался профессором по человеческому счастью. За это ему оставляли приличные деньги в узких конвертах, которых вполне хватало на жизнь, тем более что расходы в связи с уединением и отказом от всяких излишеств существенно сократились. Деловые гости постепенно привыкли к невидимости Тимы, обнимались с ним на звук

голоса, а в ходе беседы как бы задумчиво смотрели в потолок или в пол. Когда же приходило время прощаться, конверт с гонораром визитеры клали просто на угол рабочего стола и, усаживаясь в машину, старались не замечать, что ворота для выезда открываются сами собой, то есть руками невидимого хозяина. А Тима еще долго стоял под дождем у ворот, глядел вслед улетавшему по пустому сумеречному шоссе джипу и думал о том, как сейчас будет хорошо вернуться в дом, подняться в теплый кабинет и задремать под негромко включенную музыку барокко, которую он очень любил, придя в невидимое состояние.

В общем, грех было ему жаловаться на невидимость, все наладилось.

Одна только случилась существенная и непоправимая потеря: Олеся Грунт окончательно его бросила. Состоялось длинное, изнурительное выяснение отношений в пустой кофейне, по ходу которого девушка несколько раз, как только взгляд ее падал на то место, где предполагалось нахождение бывшего друга, принималась плакать. В слезах Олеся делалась сразу похожа не на светскую красавицу, а на испуганную приезжую с города Феодосии, которой в глубине души до сих пор и оставалась. Обвиняла она Тиму в эгоизме, хотя никак не могла объяснить, почему эгоизм проявляется столь странно, а в конце концов сказала просто и откровенно — не может с невидимкой, и все. На том и попрощались, хотя до сих пор перезваниваются иногда, привыкли оба. Пасмурным

днем сделается не по себе, наберет он или она знакомый номер — ты как? а ты как?.. Выходит, светлое что-то все же сохранилось, вроде облачка, понемногу расплзающегося в небе легкими ватными клочьями...

Удивительные все-таки вещи с нами происходят. Живешь себе, сильно ни о чем не задумываешься, получаешь удовольствия, отпущенные судьбой, из-за мелких неприятностей ноешь — и вдруг, от единственного какого-нибудь неловкого движения, от поступка опрометчивого все начинает рушиться, рассыпаться обломками. Хотел лишь немного поправить жизнь, усовершенствовать, а она-то вся расплзлась, и вот уж совсем другая начинается. Вроде бы и лучше, и радости давно желанные стали доступны — так ведь и горести раньше неведомые навалились, душат... Где ты, любовь? Нет любви. Покой и воля, многожды упомянутые вслед за гением, есть, а счастья нету, ушло счастье вместе со страданиями, со слезами прежними. Оглянешься — один, один, нет никого.

Невидимы люди друг для друга, вот в чем все дело. А за что эта казнь — не нам знать. Видать, заслужили.

ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ

...Бродишь по залу с вихляющей тележкой, набираешь всякую ерунду: соус для спагетти в тяжелой стеклянной банке, облепленный пленкой кусок сыра, порошок для стиралки, чтобы воду смягчать, а то нарастет там, в машине, какая-то гадость, и сломается механизм, еще соседей зальешь, гирлянду сосисок, взвешенную и заклеенную ценником в прозрачном мешке, гель для бритья... Бродишь себе и бродишь, думая только о том, что еще взять впрок. Но приходит время двигаться к выходу, а там, в конце этого блуждания, когда все, чего хотел, уже получил, ждет тебя касса, зеленым огнем вспыхивающий итог. Плати за все — и свободен, жизнь вырвала из наших рядов... Конечно, жизнь, ведь говорим же «конец жизни», а не «начало смерти». Рассчитались за все? Ну, прощайте, благодарим за покупки. Надеемся, что придете к нам еще.

Впрочем, это буддисты надеются или кто там — на вторую и последующие попытки в виде собаки, змеи, таракана и так далее. А мы-то полагаем, что освободились, что больше в этом супермаркете нам делать не

чего, и впереди только бесцельные прогулки по зеленым лужайкам или — о-хо-хо, вполне возможно, по грехам-то — горячее производство, выплавка чистого сверкающего раскаяния из бедной породы душ наших...

На окраине Москвы, где река делает большую петлю, будто обходя тайное подводное препятствие, стоит микрорайон Брюханово. Река делит его на две части, на Верхнее, ближе к центру, и Нижнее, уже почти подмосковное. Прежде, в незапамятные времена, были это две враждующие пригородные деревни. Продавали, сбивая друг другу цену, в столице молоко и яйца, парни отчаянно дрались на весеннем слабом льду вплоть до членовредительства и нечаянного утопления, а солидное население сильно завидовало городским, их электричеству и центральной воде, не говоря уж о прочих теплых удобствах и возможностях конторской чистой работы, и ревниво гадало, кому прогресс достанется раньше. По всему выходило так, что верхние брюхановцы должны были опередить... Но прогресс распорядился по-своему: сначала Брюханово Нижнее сделалось огромным спальным микрорайоном, застроенным длинными девятиэтажками и шестнадцатиэтажными башнями для простого, неудержимо растущего населения, а потом Верхнее оказалось прорезанным улицей имени какого-то неизвестного Петрова, вдоль которой встали богатые дома с дорогими квартирами и салонами красоты. Так что электричества и водопровода

досталось в конце концов поровну, однако преимущество у верхних все же получилось за счет социального расслоения, свалившегося вдруг на наши непривычные головы. Жили себе все обыкновенным образом, бегали по нужде в кривые будки за грядами, над обрывом — и вдруг на тебе! У одних унитаз за три зеленых штуки, с дизайном, а у других советский, с деревянной подковой, да и тот треснутый. Одним дорога в бандиты либо в охранники, а другие от бандитов себе охрану нанимают. Одни баню топят в оздоровительно-развлекательном комплексе Nizneie Bryukhanovo Country Club, а другие там парятся.

В общем, демократия.

С другой же стороны посмотреть... Хоть демократия, хоть старая власть, а как было Верхнее Брюханово всегда к Кремлю ближе, как пустили туда трамвай аж до войны, когда в Нижнем еще и мостовой-то не положили, как заливало всегда нижний берег, а верхний красовался, отражаясь в широком паводке, так и осталось, так и навсегда останется. Это не история, товарищи, это география, наука не столько гуманитарная, сколько естественная. Против географии революцию не сделаешь.

Например, география устроила так, что в самом изгибе реки расположилось небольшое населенное место, издавна не относившееся ни к Верхнему, ни к Нижнему Брюханову. Десятка три там стояло серых дощатых изб, земля была грязная, болотистая, ветер дул круглый год. Для чего в таких пар-

шивых условиях поселились люди, один Бог знает, люди вообще где только не селятся — и на вулканах, и на мерзлоте вечной, и в подверженных землетрясениям, наводнениям, вечной суши краях. Чего, спрашивается, там жить, когда полно пустых пространств с прекрасными видами и безопасных? Непонятно, а ведь живут. Станный люди народ, необъяснимый.

Вот и в межбрюхановской излучине жили аборигены, да так и остались жить, несмотря на общее развитие, свободу и экономику. Раньше поселение это никак не называлось, а в последние годы стало называться просто «частный сектор», поскольку имелось решение о скором его уничтожении путем повального сноса, предоставления прописанным гражданам соответствующей площади в новостройках данного административного округа и строительства на очищенной территории высотного жилья с замораживанием почв под фундамент. В воздухе тех краев вообще была растворена идея большого строительства, несмотря даже на то, что возведение на упомянутой улице Петрова самого высокого дома в мире несколько лет назад не удалось — не сработались разноязыкие гаст, как говорится, арбайтеры, проект с красивым именем «Бабилон» законсервировался и распался понемногу в пыль, а застройщик разорился. Однако неугомонным строительным фирмам и благоволящим к ним властям все равно не терпелось снести к чертовой матери частный сектор, так

что дни забытых Богом и жизнью халуп казались сочтенными.

Но тут-то и проявила свою загадочность неистребимая наша душа, понять и объяснить которую уж не один век тщатся иные горе-исследователи, да все без толку. Не выйдет, господа, не надейтесь! Велика страна, и огромная тайна хранится в большом сердце русском, вмещающем весь мир, всю Вселенную даже. Тесно ему, сердцу, на отведенных санитарными нормами квадратных метрах, душно в обычных квартирах хотя бы даже и улучшенной планировки — подай нам целиком поднебесный простор, да не тронь и малую, но необъятную родину.

Одним словом, жители взбунтовались. Подите вы все на грубые буквы, говорили жители строительным эмиссарам и официальным уполномоченным, а нас оставьте в покое в избах наших кривых, без водоснабжения и канализации, зато с огородами и земельным природным наделом в пять-семь, а у некоторых и в десять соток. Это есть наша недвижимая собственность, отечество наше, и не надо нам вашего комфорта с телефонами и даже мусоропроводом. Здесь отцы наши жили с матерями, здесь деды наши мучились под царизмом и последовавшим без хотя бы малой передышки социализмом, здесь и мы умрем непокоренными, плевать на ваш рынок.

Скажите, ну откуда берется вдруг в нашем соотечественнике такая гордость, тяга столь непобедимая к воле — к свободе

то есть? Ведь столетиями жил он, да и сейчас не против жить под начальниками, и даже любит начальников этих, почитает их отцами родными, ждет от них блага и заботы, за что готов, опять же, любить и почитать. Вон один поручик, снискавший среди знакомых славу некрасивой внешностью и дурным характером, а среди всех прочих еще большую талантом, так прямо и написал — мол, страна рабов, страна господ, будто больше среди нашего брата нет никого. Еще и немтыми облаял, можно подумать, сам в Тарханах из джакузи не вылезал... Но только до поры послушен русский человек, а потом как взовьется! Тогда начинается пугачевщина, пусть в масштабе отдельно взятого квартала.

И поднялся частный сектор на борьбу.

Нашлись, конечно, сразу народные вожаки из числа ветеранов труда и войны, организовали сопротивление. Составили при участии молодого грамотного поколения письмо протеста, отправили его в префектуру по назначению, копии же на всякий случай послали известным по телевизору депутатам, нескольким популярным, исполняющим хорошие песни артистам эстрады, в международный суд справедливого города Страсбурга, ну, и президенту, конечно, чтобы разобрался. Письмо вместе с копиями молодежь распечатала на принтере, так что проблем не было.

Ответ на письмо пришел вскоре совершенно несимметричный — в виде нескольких уполномоченных мужчин и женщин,

двинувшихся по домам со смотровыми ордерами на новые квартиры. Уполномоченные глядели хмуро, удивлялись, как могут люди отказываться от современного жилья с лифтами внутри и инфраструктурой вокруг, оставаясь в доисторических условиях с водой в колонке и даже без кабельного телевидения. Протестанты же стояли на своем, расписываться за ордера отказывались, так что уполномоченные скоро набились все в казенный микроавтобус и покинули поле битвы за умы людей.

Победа эта, однако, не усыпила бдительности испытанных пенсионеров, среди которых были и те, кто имел опыт жалоб еще в райкомы, парткомиссии и ОБХСС. Старички готовились к новым боям и оказались правы: вскоре по почтовым ящикам смущенная почтальонша разложила уведомления о грядущем принудительном выселении граждан по уже состоявшемуся каким-то срочным образом решению межрайонного суда. И пока общество разбирало смысл документа, заревели моторы, показалась на подступах к месту действия тяжелая строительная техника, за которой шла пехота в оранжевых жилетах, а в глубоком тылу виднелись черные машины начальства.

Что оставалось делать массам? Только взяться за руки и встать поперек движения цивилизации, готовой, как всегда, смести со своего пути все живое. В цепи оказались рядом пожилые женщины в домашнем платье и темных, словно в церковь повязанных платках, юноши в просторных штанах, май-

ках со словами и американских кепках, несколько серьезных мужчин, самоотверженно преодолевающих абстинентное недомогание, старик с потемневшей до полной неразборчивости медалью на протертой колодке и значком ударника коммунистического труда, две девушки на каблуках и с музыкальными затычками в ушах — в общем, не большое, но цельное человечество. И бездушный металл отступил, а с ним вроде бы отступилась от упрямцев и власть.

Эх, наивность! Дети вы, господа, истинные дети. Где ж это видано, чтобы власть отступалась? Не бывает такого в беспощадной действительности, и не надейтесь. Для того мы и назначаем себе власть, чтобы она держала нас в строгости, силком творила благо, без уступок пресекая народные капризы и баловство. Иначе население такого наворотит, что само не обрадуется, вплоть до полного истребления себя. В одном суть и смысл любой власти, хоть царской, Богом данной, хоть всенародно избранной под международным наблюдением, — охранять людей от их же собственной глупости. А как только она в этом занятии слабинку даст, тут ей и конец, заодно же и большей части народа, который без узды непременно начнет друг друга убивать и грабить во имя добра, справедливости и свободы. Найдутся грамотные дураки (им потом тоже отольется), дадут всему название — великая революция, или исторические реформы, или еще какая-нибудь херня — и пойдет: нищета, голод, стрельба на улицах, в подвалах гнилая вода

стоит... Так и будет, пока не выползет из безобразия новая сила, не гаркнет как следует, не перехватит болтающиеся вожжи, не станет властью, не запретит бунтовать. Тогда опомнимся, возьмемся за ум, делом займемся — глядишь, все понемногу и наладится до новых бунтов.

Вернемся, впрочем, на место описываемого действия, к действующим на нем лицам и исполнителям Господней неисповедимой воли. Прошла с народной победы неделя, наступила ранняя золотая осень, принесшая, как положено, очарование очам... Красота! Прозрачность, воздух... И тут-то для вразумления межбрюхановских инсургентов руководство отключило им свет. Приехали дядьки на грузовике с такой выдвигной штукой, поделали чего-то на столбе — и привет. Как бы намек — не хотите жить в современном электрическом мире, вот вам ваша отсталость в полный рост. Топите свои печи, таскайте воду ведрами, ешьте тухлятину без холодильников и, главное, попрощайтесь с любимыми телевизорами, раз вы такие умные. Желаете в родной деревне оставаться, так попробуйте настоящего деревенского счастья. Жестоко, конечно, но логично.

Что ж, погрузился, как говорится, во тьму злополучный частный сектор. Притих протестный электорат, сидит по домам при свечках, вставленных в стаканы и другие подручные предметы, мается. Молодежные компьютеры остановились, телевизоры прекратили снабжение зрителей юмором

и жизненными фильмами, морозилки потекли... Только радио батарейное поет задушевно арестантские песни, но от этого делается еще грустнее, потому что и песни грустные.

Юное поколение быстро рюкзаки поцепляло и в город подалось, ему, юному, все равно, оно и при свете невесть где гуляло. Женская часть подумала-подумала, задула свечи да и спать легла, накрутилась за день, хоть отдохнуть, если серию не посмотришь. А мужчинам, конечно, не спится в силу мужской более нервной организации, так что остается стоять вокруг ларька «Продукты», где, следует признать, они и в светлое мирное время стояли. В ларьке находчивый хозяин зажег неизвестно где найденную керосиновую лампу и при ней, вопреки противопожарной безопасности, отпускает пиво и сопутствующие товары, вплоть до белой, предпочитаемой отдельными, наиболее решительными покупателями.

Ну, и разговор, конечно, идет.

Потому что бараны мы, хуже скотов, говорит один джентльмен, так с нами и надо.

Следует заметить, что в любой отечественной компании всегда находится кто-нибудь, склонный к такой национальной самокритике. Иногда он этим и ограничивается, иногда же продолжает — вот, посмотрите на евреев (хачиков, немцев, китайцев, да хоть кого), они небось так с собой не позволят обращаться. Потому что друг друга тянут, стоят друг за друга, головой думают, а мы и мозги пропили, и совесть. Последнее ут-

верждение никак не мешает оратору продолжать то же занятие, которому одновременно с беседой предаются все...

В конституционный суд надо идти, вот что, говорит второй.

Почему именно в конституционный, он не объясняет. Такой информированный господин обычно хранит тайну своего знания, и с ним никто не спорит, не требует аргументации, слушают уважительно и серьезно кивают головами. Впрочем, к чести российской общественности, рекомендации экспертов подобного рода она никогда не выполняет...

А если с другой стороны взять, после долгого совместного молчания говорит третий, можно и переехать, в этой-то помойке жить тоже радость небольшая. И точно, как скоты.

Неожиданный оппортунизм не встречает никакого отпора. Вместо того, чтобы немедленно исторгнуть осквернителя принципов и потенциального предателя из своей среды, собеседники снова надолго задумываются в тишине. Этим и поразителен великий русский характер, что любую чуждую идею мы не отвергаем с ходу, а принимаем к сочувственному рассмотрению, и даже увлекаемся ею, и даже готовы довести до воплощения в прямой ущерб себе! А что, рассуждает наш человек, раз есть такая мысль, то ведь и правота своя есть у того, кто ее думает... Давай-ка попробуем, страна у нас большая, богатая, авось ничего ей не сделается от пробы — и пробуем так, как са-

тому Марксу не снилось... Смотри-ка, не получилось, удивляемся потом, надо же. А у других получалось, значит, климат там мягче. Ну, ладно...

Так и стоят граждане, размышляя о судьбах родины.

Меж тем ночь сияет над ними, и в сиянии этом сливается природный блеск отечественных звезд с противоестественным и непобедимым заревом города, как сливаются в безумной нашей истории две стороны света, две половины мира, две иллюзии человеческих.

В такое время и в таком месте никак не могло, по нашему мнению, обойтись без чуда.

Чудо и случилось.

Под сиянием небес, во мгле ночи отделился потихоньку от компании один незаметный такой товарищ. Фигуру его рассмотреть было невозможно, лицо тем более, но впоследствии выяснилось, что он не местный, снимал комнату у одной старухи, и чем по жизни занимался, неизвестно. Сидел себе целый день в затхлом старушечьем жилье, курил, писал что-то на бумаге и складывал стопкой — в общем, временно неработающий, но, видно, с образованием. Сейчас таких много — сплошные «не» в определениях...

Он отошел от ларька, и не успел никто и удивиться толком, как в одно мгновение влез на близко стоявший тот самый столб, на котором произведено было высшими силами отключение света. Как уж ему удалось,

один Бог знает — без выдвижной площадки, без кошек монтерских, даже без всякой лестницы! Ну, чудо — оно и есть чудо, тут рассуждать не приходится. Взлетел ввысь и повис, прижавшись к столбу, словно магнит его там держал.

Народ... А, что говорить о народе, когда раз и навсегда сказано, что безмолвствует он. Ничего против народа мы не имеем, даже любим его по-своему, но тут речь не о нем.

Неместный мужчина меж тем уже возился в небесах, восстанавливая контакт. И, опять обратим внимание, без предварительного обесточивания линии, без резиновых перчаток и положенных по технологии бот! А там, вы же понимаете, одной фазы достаточно, чтобы приготовить из любого живого организма гриль... Но ничего не сделалось герою, на то он, опять же, и герой — скрутил провода, будто они из пластилина, да еще и рукой вниз махнул, получите, мол.

Забытые в рабочем состоянии выключатели тут же пропустили давно желанный ток к лампочкам и телевизионным экранам, озарились окна мертвых мгновение назад домов, свет и тепло сошли к людям.

Нельзя сказать, что люди, узрев чудо, упали на лица свои. Но что выпили от удивления, это да.

Он же все висел на столбе, никак не мог слезть, зацепился за что-то одежками.

«Я дал им огонь, — думал он и, как свойственно фантазерам, особенно пьющим, досо-

чинял, — за это меня приковали и так далее. Птица цирроз, — продолжал сочинять он, глотая кстати пару желтых даже в темноте таблеточек аллохола, — будет прилетать и клевать мою печень. Возникнет прекрасная легенда, которую я мог бы записать и, наконец, достичь славы, моя книжка лежала бы среди новинок во всех больших книжных магазинах, возможно даже с бумажкой «Лучшие продажи месяца» поверх стопки. Но мне не суждено добиться такого успеха, я буду здесь висеть, как последний мурак, вот и все, а электричество один хрен опять отключат. Стоило ли забираться так высоко?»

Сомнения в избранном пути, бессмысленные сожаления об уже совершенном терзали несчастного. Героям вообще-то не свойственна рефлексия, но некоторые становятся героями нечаянно, не успев потерять симпатичные человеческие свойства.

Утром приехало Мосэнерго, его сняли, слегка наподдав, как положено. Избы пошли под бульдозер через месяц, людей расселили по плану, все кончилось.

Прометей взял сумку и отправился в город. Там он, конечно, потерялся среди других наших знакомых — предпринимателей без образования юридического лица, пиарщиков, светских девушек, призраков, бандитов, работников метрополитена, бомжей, вурдалаков, председателей думских комитетов, милиционеров, звезд шоу-бизнеса, ведьм, работников ЧОПов (частных охранных предприятий), посетителей кофеен,

любителей экстремального спорта, говорящих зверей, военных пенсионеров, москвичей и гостей столицы, временно зарегистрированных за взятку. Наверное, опять нашел комнату у какой-нибудь старушки и все пишет свою книгу. Жизнь ведь одна и кончается быстро, надо спешить и стараться.

Мы надеемся, что Господь пошлет ему сил и времени дописать — иначе, действительно, не стоило лезть так высоко.

*2004, 21 февраля – 3 ноября,
Павловская Слобода*

СОДЕРЖАНИЕ

Голландец	5
Проект «Бабилон»	28
Ходок	52
Странник	78
Красная и серый	103
Восходящий поток	131
Любовь зла	141
В особо крупных размерах	172
Два на три	206
Из жизни мертвых	239
VIP	267
Огонь небесный	288

Литературно-художественное издание

Кабаков
Александр Абрамович
МОСКОВСКИЕ СКАЗКИ

Редактор
Е.Д.Шубина

Мл. редактор
Е.В.Безуглых

Художественный редактор
Т.Н.Костерина

Технолог
С.С.Басипова

Оператор компьютерной верстки
М.Е.Басипова

Оператор компьютерной верстки
переплета
В.М.Драновский

Корректор
Е.В.Рудницкая

Подписано в печать 15.07.2005
Формат 84х90/32.
Тираж 5 000 экз.
Заказ № 1540.

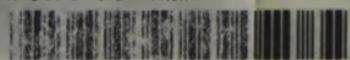
ЗАО «Вагриус»
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1.
E-mail: vagrius@vagrius.com
Информация об издательстве в Интернете:
<http://www.vagrius.com>;
<http://www.vagrius.ru>

Отпечатано в ОАО
«Тульская типография».
300600, г. Тула, пр-т Ленина, 109.

В Москве, в наше ох какое
непростое время, живут Серый волк
и Красная Шапочка, Царевна-лягушка
и вечный странник Агасфер.
Здесь посетит Летучий голландец
и строят Вавилонскую башню...
Александр Кабаков заново сочинил
эти сказки и собрал их в книгу, потому
что ему давно хотелось написать
о сверхъестественной подкладке нашей
жизни, лишь иногда выглядывающей
из-под обычного быта.

Книжка получилась смешная,
грустная, местами страшная до жутки –
как и положено сказкам.

Kazakov, Aleksandr Abramovich
Moskovskie skazki



1111923 Distributed by A2084643

EASTVIEW PUBLICATIONS INC

eastview@eastview.com

ax 103 659-2931

www.eastview.com

ISBN 5-9697-0033-9



9 785969 700338

ВАГРИНС